

Сергей
ДЕСНИЦКИЙ

БРАТЯ

Пётр и Павел

1957 год



Сергей Десницкий
Пётр и Павел. 1957 год

«Пробел-2000»

2010

УДК 821.161.1-1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

Десницкий С. Г.

Пётр и Павел. 1957 год / С. Г. Десницкий — «Пробел-2000»,
2010

Автор романа помещает своих героев в 1957 год, но с помощью отступлений и воспоминаний позволяет себе и им совершать экскурсии в прошлое, отчего роман по широте охвата событий обретает черты вселенские: здесь и войны, и раскулачивание, и непримиримая борьба с религией, и противостояние ей верующих, и репрессии, и реабилитация – всё, что пришлось пережить нашему многострадальному народу!

УДК 821.161.1-1
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

© Десницкий С. Г., 2010
© Пробел-2000, 2010

Содержание

Об авторе	5
Часть Первая	8
1	8
2	14
3	19
4	23
5	28
6	33
7	37
8	42
9	48
10	56
11	65
12	72
13	82
14	92
15	102
16	105
17	123
18	138
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Сергей Десницкий

Пётр и Павел. 1957 год

Без Христа невозможно оправдать человечество
Архимандрит Софроний "Письма в Россию" Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь

Об авторе



В мае 1960 года ныне Заслуженный артист России Сергей Десницкий, а тогда студент второго курса Школы-студии МХАТ, впервые вышел на профессиональную сцену в массовке спектакля «Третья патетическая». С тех пор прошло пятьдесят лет. За эти годы он успел поработать в трёх московских театрах и сыграть более ста ролей. В начале его актёрской карьеры он два года выходил на сцену театра-студии «Современник», потом 27 лет работал во МХАТе им. М.Горького. В 1991-м году Десницкий неожиданно оставил знаменитый театр и перешёл в театр-студию под руководством Марка Розовского, а в 1997-м так же внезапно вернулся, правда, теперь уже во МХТ им. А.П.Чехова, где служит в настоящее время. Однако его сотрудничество с театром «У Никитских ворот» не прекращается. Именно здесь в содружестве с режиссёром А.Кацем им сыграны последние роли: Илико в спектакле по повести Н.Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» и Грознов в пьесе А.Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Со стороны может показаться, Десницкий мечется из стороны в сторону, не зная, к какому берегу пристать. Но на самом деле все его уходы и возвращения вызваны исключительно творческими причинами. Когда работа в одном месте становилась неинтересной, артист начинал искать её в другом и, как правило, находил.

В периоды творческого простоя очень помогала работа на телевидении и в кино. В послужном списке Сергея Десницкого 26 киноролей, среди которых есть работы, сделавшие его популярным. «Дознание пилота Пиркса», «Лекарство против страха», «Выбор цели», «Акция» до сих пор, время от времени, идут на телеэкране.

После «Современника», где молодой артист успел сыграть немного, МХАТ дал возможность раскрыться его актёрскому дарованию в гораздо большей степени. Клеант в «Тартюфе», Актёр в «На дне» и целая галерея чеховских образов в «Чайке», «Трёх сёстрах», «Иванове» значительно пополнили список сыгранных им ролей.

Период работы в театре «У Никитских ворот», с 1991 года по 1997-й, был, пожалуй, самым плодотворным в актёрской судьбе Сергея Десницкого. За шесть лет он сыграл на сцене этого театра девять главных ролей. Среди них: Поляков в булгаковском «Морфии», Мейерхольд в «Триумфальной площади», Холстомер в «Истории лошади» и, наконец, дядя Ваня в одноимённой пьесе А.П.Чехова.

«Вот и дождался своего звёздного часа Сергей Десницкий, – писал в одной из рецензий на спектакль известный театральный критик Б.Поюровский. – Он говорит чеховский текст, но сверх того добавляет к нему собственные чувства. Это его зря прожитая жизнь выплеснулась в долгожданной роли, да так, что ком подкатывает к горлу не только у актёра... По существу, это заявка на множество лучших ролей мирового репертуара».

Пожелание Бориса Михайловича так и осталось пожеланием, сыграть другие «лучшие» роли артисту не довелось, но и без того его актёрскую жизнь можно без преувеличения назвать удавшейся.

Интерес к режиссуре проявился у Сергея Десницкого сравнительно рано. Уже через четыре года после окончания Школы-студии он, как режиссёр-педагог, поставил на студенческой сцене свой первый дипломный спектакль по пьесе В.Коростелёва «Дон Кихот ведёт бой». Однако следующей премьеры в профессиональном театре новоиспечённому режиссёру пришлось ждать довольно долго.

В 1968 году Б.Н.Ливанов предложил Десницкому помочь ему в постановке чеховской «Чайки» в качестве второго режиссёра. Это была замечательная школа, поскольку в спектакле были заняты лучшие мхатовские актёры (А.Степанова, О.Стриженов, М. Болдуман, Е.Ханаева), а сам Борис Николаевич обладал такой яркой индивидуальностью, что одно присутствие рядом с ним помогало постигнуть основы театральной режиссуры лучше любых академических лекций.

Другое дело – О.Н.Ефремов. Спокойный, рассудительный, он обладал удивительным даром режиссёрского разбора и действенного построения пьесы. На его репетициях можно было до тонкостей изучить режиссёрское ремесло...

И в 1975 году «режиссёрское образование» Сергея Десницкого продолжилось, он стал вторым режиссёром в ефремовской постановке чеховского «Иванова». Работа с такими артистами, как А.А.Попов, И.М.Смоктунский, М.И.Прудкин, Е.А.Евстигнеев, В.М.Невинный, закалила начинающего режиссёра, и даже зарубежные постановки уже не пугали его. В 1996-м году в США, в Хартфорде, он поставил спектакль «Ай-яй-яй» по рассказам Антоши Чехонте, а годом позже в Польше, во вроцлавском театре «Вспулчесны», знаменитую комедию Н.В.Гоголя «Ревизор». Придя в театр «У Никитских ворот», Десницкий решил осуществить постановку своей самой любимой пьесы – «Утиной охоты» А. Вампилова...

«Из всех московских режиссёров, ставивших самую знаменитую вампиловскую пьесу, Сергею Десницкому повезло больше всех, ибо он сумел прикоснуться к сердцу драмы... В театре «У Никитских ворот» «Утиная охота» выплеснула в зал всё своё глубокое и горькое естество». (Антон Чаркин, газета «Век», № 29 за 1995 год).

В театре М.Розовского исполнились ещё две мечты Десницкого. Первая называлась «Жизнь и необыкновенные приключения Мастера Михаила Афанасьевича и его Маргариты Елены Сергеевны». Несмотря на такое длинное название, в спектакле были заняты только два актёра: сам автор и его жена Елена Кондратова. Затея удалась, и следующий спектакль по роману Л.Н.Толстого назывался «Треугольник. Анна – Каренин – Вронский».

Вот что писала в статье со знаковым названием «Круг за кругом» театральный критик Наталья Старосельцева: «В принципе я против вычленения отдельных романских линий в спектакле. Хотя, в конечном счёте, всё зависит от вкуса его создателя. А вкус Сергея Десницкого, инсценировавшего «Анну Каренину», отличается изысканностью и опирается на глубокую литературоведческую основательность. Эти черты его я оценила ещё в «Необыкновенных приключениях Мастера Михаила Афанасьевича и его Маргариты Елены Сергеевны». Оценила не только умение автора «работать с большой литературой», но и его неподдельную любовь к отечественной культуре, позволяющую смело выдвигать собственные концепции, осмысливая хорошо знакомое по-новому, свежо и очень лично».

За годы работы в театре Сергей Десницкий написал десять пьес, пять из которых шли на разных сценах. Кроме вышеназванных, это «Известный вам интриган», «В Париже», «Однажды в России». И вот теперь автор вошёл в следующий круг творческого поиска и предлагает читателю свой первый беллетристический опыт.



Часть Первая

Павел

... свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы... а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны...
Евангелие от Иоанна, гл. 3.

1

Осень 1957 года в этих местах была ранняя, но радостная, солнечная. Вот уже вторую неделю на небе ни облачка, и тонкий морозный пар, вылетающий из глоток сотен людей вместе со словами бодрой строевой песни, тут же разлетался в прозрачном воздухе.

Как легко и свободно дышится! Как просторно на душе и светло! Благодать!..

Но вот колонна в одинаковых грязно-серых ватниках скрылась за воротами лагеря, и на посёлок опустилась тишина.

Павел Петрович Троицкий медленно брёл по пустынной лагерной улице.

Никого. Лишь всеобщий любимец Шакал, лохматый добродушный пёс с обрубленным хвостом и трагическими, как у Пьеро, бровями, по заведённой раз и навсегда традиции, проводив людей на работу, неспешно трусил к столовой в надежде получить свою миску баланды и пайку хлеба.

Улица тянулась в длину ровно на тысячу шестьсот шесть шагов. Это Павел Петрович знал точно. Сколько раз за 9 лет своей лагерной жизни он прошёл её из конца в конец!.. И весь этот нехитрый маршрут изучил с абсолютной точностью: от барака до столовой шестьсот пятнадцать шагов, от столовой до санчасти шестьдесят три, от санчасти до клуба, где Троицкий состоял в должности библиотекаря и завхоза, вообще рукой подать, а до лагерных ворот, за которыми сразу начиналась тайга, ещё сто пятьдесят четыре.

Тай-га.

Когда в детстве Павел впервые услышал это загадочное слово, ему представилась сказочная картина: поваленные вековые деревья в три обхвата, непроходимые заросли колючего кустарника, стеной встающие на пути, высокая по пояс трава, хватающая путника за ноги, притаившиеся под сенью разлапистых елей укромные лесные поляны. Словом, настоящее царство Берендея, бородатых лесовиков и бабы-яги... А на деле оказалось, что ничего сказочного тут нет и северная тайга безрадостна и убога. Вместо вековых деревьев – низенькие корявые березки, вместо могучих елей – чахлые сосенки, и голые жерди сухостоя, и пожухлая трава, и скучный подлесок. Да ещё – сплошные болотца, покрытые ковром пушистого мшанника всех цветов и оттенков, на которых к концу короткого северного лета появляется алая ягодная россыпь. Вот и теперь, стоит только выйти за ворота, как повсюду, куда ни глянь, краснеют среди ярко-зелёных листочков крупные ягоды клюквы, коралловые гроздья брусники, так что и ступить некуда. Попробуй – тут же брызнет из-под ног ягодный сок. И, пока не покрыл эту таёжную роскошь первый снег, вся здешняя братва набрасывается на ягодные плантации, чтобы долгой зимой не загнуться от цынги и прочей лагерной хвори. И не беда, что набеги эти чаще всего заканчиваются длинными очередями в "нужник". Инстинкт самосохранения берёт своё.

Но сегодня Павлу было не до ягод. Он шёл по знакомой улице и не узнавал её.

Низкое северное солнце оранжево полыхало в узких окошках бараков и бросало на землю длинные тени, а густая синева безоблачного неба, казалось, звенела в морозном воздухе. Тёмные лужи затаило корочкой льда, и, когда нога невзначай ступала на их гладкую блестящую поверхность, из-под резиновой подошвы кирзового башмака разбегалась в разные стороны прозрачная паутинка тоненьких трещин.

"Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера..."

Кажется, так у Тютчева?.. Да, кажется, так.

Но почему эти строки именно сейчас вспыхнули в его памяти?.. Почему где-то в потаённом уголке измученной души затеплилась щемлящая, нечаянная радость и впервые за долгие годы неволи шевельнулось зыбкое предчувствие близкого счастья? Почему к горлу подступил жгучий комок и голова закружилась от радостных, но таких далёких воспоминаний? Отчего сердце так отчаянно забилося в груди, готовое или выскочить наружу, или разорваться в клочья?

Лишенный возможности переписываться с родными, Троицкий за долгие годы заключения привык к тому, что узнать что-либо о судьбе жены и сына невозможно. И это хоть как-то, но успокаивало... Вернее, дарило надежду. А вдруг?!.. Ведь случаются чудеса на свете?.. И вот теперь...

Обретение свободы превращало эти жалкие потуги самоуспокоения в прах. Хочешь, не хочешь, но ты должен узнать правду. Какой бы жестокой она ни была. И эта неотвратимость пугала. До дрожи в руках. Мысль о том, что его арест мог стать причиной гибели самых дорогих для него людей, сводила с ума.

Чтобы привести разворошённые чувства и мысли в порядок, Павел присел на скамью.

"Спокойней, Павел Петрович!.. Что это вы нервишки свои распустили, как институтка перед экзаменом?.. Ты же не знаешь ещё, для чего тебя к начальнику лагеря вызывают. Мало ли причин может быть?.. Так что успокойся и волю нервам своим не давай".

Кто-то тихонько сел подле него.

Не поднимая головы, Павел угадал – отец Серафим. Этот сухой долговязый старик каким-то непостижимым образом всегда оказывался рядом с ним в нужную минуту.

– Ты чего это, друже, голову повесил?.. Тебе ликовать надо – на волю выходишь.

Павел усмехнулся.

– И то... Другой на моём месте плясал бы от радости, а у меня вот... разлад в душе... – и вдруг резко вскинул на отца Серафима тревожный растерянный взгляд. – Трушу я, отче!.. Веришь ли, никогда так не трусил, как теперь!..

– Думаешь, удивил?.. – улыбнулся беззубым ртом батюшка. – Даже самые отчаянные храбрецы перед тем, как в таёжные дебри ступить, крестятся не переставая. А для тебя жизнь за "колючкой" те же самые дебри и есть. Свобода – она для тварей небесных привычное состояние, а для нас, грешных, – обуза и великая ответственность.

Павел, не отводя взгляда от хитро прищуренных глаз старика, спросил:

– Вот и ответь мне, отче, что же такое эта самая "свобода"??..

Отец Серафим по многолетней привычке почесал подбородок, то место, где в прежние, долагерные, времена кустилась его реденькая бородёнка. В сложных ситуациях любил он её почёсывать, и, судя по всему, привычка эта помогала: даже из самых щекотливых ситуаций выпутывался. А тут такой вопросец!.. Поди ответь на него!..

– Помню, мне лет пять или шесть было. На Новый год приехала к нам погостить тётя Фуня. Мы всей семьёй её так звали, хотя имя у неё было самое обыкновенное, христианское – Александра. Но дело в том, что ещё в младенческих годах именно я прозвал её таким неблагозвучным образом. Родители мне говорят: "Скажи Шура...". Я в ответ: "Фуня" – "Шура" – "Фуня" – "Шура" – "Фуня". Ни за что не соглашался "Шурой" назвать. Так и пристала эта кличка к ней. Она поначалу обижалась, но что возьмёшь с полуторогодовалого младенца?!.. Смирилась в конце концов. Вот только, почему я решил ей именно такое имя выбрать, никто понять не мог... Правда, потом родители мне рассказали: характер у тётушки был зловреднейший. Так что, как говорится: "Устами младенца глаголет истина!" Но я, прости, отвлекся, разговор о другом пойдёт. Ну, так вот, приехала Фуня в гости и гостинцев с собой повезла!.. В основном, сладостей. И конфеты самые разные, и пастила, и марципаны, и орешки в разноцветной глазури, и, само собой, шоколадные фигурки в "золотце". Мы так блестящую фольгу обзывали – "золотце". Большая драгоценность была!.. Сестрица моя Алёна за обе щеки всю эту роскошь уплетает, а мне нельзя – диатез у меня!.. Да такой жестокий, что стоит мне крохотный кусочек шоколадки съесть, весь коркой от макушки до пяток покрываюсь, и зуд во всём теле такой, что матушка на ночь мне даже руки бинтовала, чтобы я не расчёсывал себя до крови. И что же получается?.. Для Алёнки Новый год – праздник, а для меня – мука мученическая! Засел я в чулан за кухней и реветь принялся. С трудом меня там отыскали, матушка слёзки мне вытерла, вздохнула так... тяжело-тяжело да и говорит: "Ладно!.. Чему быть, того не миновать!.. Господь с тобою!.. Ешь, сколько хочешь!.. Потом будешь у меня в ванне с марганцовкой сутки отмывать." Жалко ей меня стало.

Отец Серафим помолчал немного, опять почесал подбородок, потом улыбнулся, почмокал губами, словно и в самом деле съел кусочек шоколадки, весело подмигнул и продолжил:

– И вот наелся я тётушкиных сладостей, как говорится, "от пуза"!.. Никогда прежде таким счастливым себя не чувствовал!.. Хочешь марципан? – Ешь! – Хочешь чернослив в шоколаде? – Пожалуйста! – Ванильные трубочки с медовой начинкой? – Вот они! Бери, не стесняйся!.. Свобода, братцы!.. Правда, наутро я за эту самую "свободу" дорого заплатил!.. И ванны с марганцовкой не помогли!.. Две недели жестоко мучился и, веришь ли, с тех самых пор ни крошки сладкого в рот не беру, а при виде шоколада, даже дурно делается. Вот и скажи мне теперь, что такое "эта свобода": сладость безмерная или мука мученическая?.. Я же был абсолютно свободен правильный выбор сделать. Ну, перетерпи я маленько, и мучиться не пришлось бы... Хотя, чаще всего именно терпежу нам и не хватает: без усталости вредим сами себе. Ты пойми, друже, отсутствие запрета – это не свобода, а большая беда. Несчастье великое. И никакие ванночки, никакие примочки тут не помогут, если человек сам себя ограничить не сможет. Честно скажу, мне больше слово "воля" нравится. Очень хорошее слово. Ты волен совершить грех, но волен жить по правде Божьей. На всё Божья воля!.. Господь нам свободу выбора даровал, а выше этого и нет ничего.

Павла так и подмывало поспорить с батюшкой. Уж больно у него всё по-школьному выходило: слишком правильно и наглядно. И история про тётю Фуню из разряда таких христианских притч для детей: мол, не объедайтесь сладостями, родителей почитайте и про Бога не забывайте.

– Вот и выходит по-твоему, что марксисты правы были.

– В каком это смысле? – удивился батюшка. Никак не ожидал, что его рассказ вызовет у Троицкого такую ассоциацию.

– "Свобода есть осознанная необходимость!" – кажется, так основатели марксизма считали?.. И ты сейчас вслед за ними то же самое высказал. Правда, не крылатым лозунгом, а доходчивой притчей, но именно это.

Старик расхохотался.

– Подловил ты меня, Павел!.. Ох, подловил!.. Ловко!.. Но я вывернусь, ты не думай. И не с такими демагогами, как ты, спорить доводилось. По словам оно, может, и похоже, а по смыслу – ничего общего. Потому, как они политику имели в виду, а я про нравственное чувство говорю. Соображаешь?.. А политика и нравственность, как сказал Пушкин: "Две вещи несовместные!" Эту формулу про "осознанную необходимость" они изобрели, чтобы освободить человека от страха Божия. Если ты осознал, что эта особь тебе мешает, необходимо убрать ее!.. Да что "особь"?!.. Целыми классами, целыми сословиями людей уничтожали... И всё!.. Разговор у них короткий был. По этой простой формуле на радость силам бесовским действовали. Оттого и пролили за полвека столько крови, сколько в иные времена и за целый век пролить не удавалось. На первый план в их философии вышла целесообразность. Может, слышал на политинформациях: "Цель оправдывает средства!"?.. То есть то, каким образом благая цель достигается, для них значения не имеет. Главное – конечный результат!.. Моральными принципами тут и не пахнет. А для нас с тобой, друже, главное – страх навредить промыслу Божьему, Его законы порушить. Для того и необходимо воздержание, кротость, смирение. Это и называется жить в Боге. Какой удел может быть слаще?.. А наши нынешние в страхе перед начальством живут, перед партийным секретарём дрожат, бедолаги!.. Они суда Божьего не боятся: мол, этот суд когда ещё будет и будет ли?.. А начальство оно тут, под боком: как бы не навредило!.. И получается, что живут они, осознавая необходимость... "жить в начальстве". Скажи хоть, ты согласен со мной?

Павел рассмеялся:

– Ишь, как повернул!.. Здорово, отче!.. Одним махом на место поставил!.. Спасибо тебе...

Отец Серафим тоже искривил рот в улыбке:

– Пользуйся, на здоровье!..

– Ну, а если серьёзно: вот выйду я, положим, на волю, что первым делом предпринять должен?

– Ничего, – просто ответил батюшка. – Живи себе да радуйся. Но не забывай Господа благодарить.

– И всё?!..

– А тебе мало?.. Скажи, ты куда первым делом стопы свои направишь, когда за воротами лагеря очутишься?

Троицкий растерялся, не понял, к чему батюшка клонит.

– Один в кабак, сломя голову, бежит. Другой – в храм спешает. Первый – новый срок себе готовит, а второй – к новой жизни готовится. Вот тебе и вся разница.

– Как по-твоему всё легко и просто! Само собой получается! – Павел Петрович в раздумье покачал головой. – Я, видно, до такого понимания сути вещей ещё не дорос. Меня всё сомнения, всё комплексы разные мучают. Я ведь на воле почти девятнадцать лет не был!..

– И что особенного?!.. Да я тебе гарантирую – через пару недель нормальным человеком сделаешься. Честное слово!.. И водочки при случае выпьешь, и на хорошеньких барышень заглядываться начнёшь!..

Павел от души рассмеялся:

– Вот-вот!.. Только барышень мне не хватало!.. Пятьдесят пятый год пошёл!.. Самое время романы заводить.

– А возраст тут не помеха!.. Я только после того, как на Афоне восемь лет в затворничестве провёл, увидел, сколько же красивых девиц на этом свете проживает!.. Каюсь, друже, грешен. Прости, Господи!..

Павел почувствовал, насколько ему стало легче. Умел отец Серафим не то, чтобы утешить, но каким-то чудесным образом облегчить душевные "негоразды", как он любил говорить, напряжение снять.

– И запомни, друже, – он слегка похлопал Троицкого по руке, – тебя не Христа ради простили, не милостыньку тебе подали, тебя – реабилитировали. Признали то есть: ни в чём ты перед людьми не повинен!.. И попомни слова мои – ещё прощения у тебя просить будут. Вот увидишь.

Неделю назад поползло из барака в барак скользкое, труднопроизносимое слово "ре-а-би-ли-та-ци-я". Что оно означает, никто толком не понимал, но на всякий случай, даже наедине, когда никого рядом не было, произносили его шёпотом, не веря и усмехаясь, дабы не показаться слишком наивными, а, проще сказать – дураками. Что такое амнистия, знали все, но с чем её, эту самую "реабилитацию", едят, никому до сей поры попробовать не удалось. Однако таинственное неведомое слово будоражило умы, будило робкие надежды.

И вот позавчера случился в лагере конфуз: вызвали из второго барака вечного доходягу Степана Филимонова – питерского большевика с сорокалетним стажем. Ничем особенным среди прочих эков этот сгорбленный хромой старик не отличался, разве тем только, что ему, единственному в колонии, посчастливилось дважды (правда, мельком, издалека) видеть самого товарища Ленина, отчего и сидел он, как и большинство "политических" здесь, по 58-й статье. Когда и по какой причине старик слегка повредился в уме, неизвестно, но ходил он по лагерю с неведомо где добытой брошюрой "Коммунистического манифеста" в руках и призывал всех: "Покайтесь!.." Но в чём именно, не уточнял.

Вызвали Филимонова без вещей, и несчастный старик обрадовался несказанно. Роздал свой нехитрый скарб соседям, просил не поминать его лихом, а при случае и свечку поставить на канун за упокой души раба Божьего Степана и всё повторял, блаженно растягивая на смерщенном лице щербатую улыбку: "Слава тебе, Господи!.. Положил конец страданиям моим!.. С радостью иду к Тебе!.." Решил бедняга: на расстрел забирают, а вышло – оправдали по всем статьям. Как он сокрушался! На него и страшно, и жалко было смотреть. Он не плакал, не рвал на себе волосы, но горе его было безпредельно¹. Всю ночь горько и тяжело вздыхал, утром отказался от еды, метался по бараку и непрерывно бормотал одно и то же: "За что Ты прогневался на меня, Господи?!.. Чем я виноват перед Тобой? Ведь сил терпеть совсем не осталось!.." И в каком-то отчаянном исступлении рвал и топтал ни в чём не повинный Марксов "Манифест".

Так началась в лагере эта самая "реабилитация".

И вот сегодня настал черед Павла Троицкого.

Серафим коснулся его плеча:

– И не трусь!.. Со мной такое тоже бывало. И не раз. Как предстояло какой-нибудь крутой поворот в жизни совершить, трепетать начинал.

– И ты, отче?! – удивился Павел.

– А как же!.. Все мы – люди-человеки, и все до одного завтрашнего дня отчего-то страшимся. Кто меньше, кто больше, но все. Это словно в крещенскую прорубь с головой окунуться. Пробовал? То-то и оно!.. Напоказ мы все храбрецы, а загляни в душу – трепещет она, бедная. Так уж устроен человек: привыкает ко всему. И ты не исключение: к боли, к страданию своему привык. И уже кажется тебе, без боли этой не прожить и дня: родной она для тебя сделалась. А завтрашний день что принесёт? Новое страдание? Нет уж, увольте! Я лучше со старым как-нибудь перемикаюсь. Скажи, не так?

Павел спорить не стал:

– Тебе видней...

Старик от души рассмеялся. Павел опешил:

– Что ты?

– Прости, вспомнил, – он опять почесал свой плохо выбритый подбородок, и пояснил. – Живёт в нашем колхозе бухгалтер Иосиф Бланк, как ты, наверное, уже догадался, еврей. Каким

¹ – здесь и далее в романе некоторые слова даны в авторской орфографии.

ветром несчастного в эдакую глухомань занесло, одному Богу ведомо, только есть у него замечательный девиз: "Пожалуйста, не улучшайте мне жизнь!" Так и ты... Вылитый Иосиф Соломонович!.. Сколько лет за "колючкой"? Ну-ка, сосчитай.

– Если вместе всё сложить, почти девятнадцать получится.

– Ишь ты!.. Вроде совершеннолетия, – старик покачал головой. – Поди, напрочь отвык от вольной жизни? Ну, признавайся, отвык ведь.

Павел в ответ только улыбнулся:

– Отвык, отче. Твоя правда.

– Смешно... После всего, что тебе пережить довелось, тебя вроде и напугать уже нечем. Оказалось, есть чем. Ты воли боишься!.. А впрочем... – он вдруг посерьёзней. – Тяжкие испытания пошлёт тебе Господь. Великие негоразды ещё не раз пережить придётся... Чует сердце.

Павел вздохнул.

– Неужто ещё?.. Не довольно ли будет?..

– На всё воля Божья. Ты только духом не падай. Господь, Он милосерд... Вспомни, как митрополит Филарет молился: "Господи, Ты един ведаешь, что мне нужно. Ты зришь нужды, которых я не знаю..."

– "Зри и сотвори по милости Твоей..." – закончил Павел.

Старик потрепал его по плечу:

– И я тебе так скажу: уповай... Договорились?..

– Договорились, – усмехнулся Троицкий.

– А у меня к тебе просьба личного порядка, – сказал отец Серафим и полез во внутренний карман ватника. – Ты у нас скоро вольным сделаешься, не сегодня-завтра отпустят тебя на все четыре стороны, а посему прошу: в городе будешь, отправь письмишко на волю, – и он протянул Павлу сложенные вчетверо листки бумаги. – Извини, конвертом я не обзавёлся, так ты, сделай милость, потраться на старика. Адрес я тут на обратной стороне написал.

Павел молча кивнул, взял письмо, и с минуту они просидели, не глядя друг на друга, каждый со своим.

– А теперь ступай, друже, начальство небось тебя совсем заждалось. Сердится.

Отец Серафим слегка подтолкнул Павла и, пока тот брёл по пустынной улице, крестил вслед.

2

Нынешняя осень в Дальних Ключах выдалась хотя и поздняя, но гнилая, промозглая. Небо затянули низкие тяжёлые тучи, и вот уже вторую неделю не переставая лил мелкий, занудливый дождь. Земля, напитавшись влагой, разбухла и, расплзаясь под ногами, смачно сопела, вздыхала, чавкала. Жирная, маслянистая жижа налипала на сапоги, отчего те пудовыми гирями висели на ногах, и на душе было так же пасмурно и тоскливо.

Тяжело передвигая ноги по скользкой дороге, Алексей несколько раз останавливался, чтобы перевести дух. Сидевший в теле осколок немецкой мины с годами всё чаще давал о себе знать. Вот и сейчас так остро кольнуло в сердце, что он невольно охнул и замер, прижав руку к груди: прислушивался, не кольнёт ли ещё. На смену пришла тупая, ноющая боль.

Когда весной 44-го он очнулся в госпитале, увидел склонённое над ним строгое женское лицо в белой докторской шапочке и откуда-то издали, совсем из другого мира, услышал изумлённый возглас: "Ты смотри – жив бродяга!" – то подумал, что это всего лишь сон, видение, мираж. Военврач второго ранга Наталья Григорьевна Большакова не верила своим глазам. 16 осколков достала она из груди этого уже немолодого человека, а вот 17-й тронуть не решилась. Как показал рентген, крохотный кусочек чёрного металла накрепко застрял прямо в сердечной мышце. "Как себя чувствуешь, герой?" – в её прокуренном, хрипловато-надтреснутом голосе слышалось неподдельное восхищение. С трудом ворочая онемевшим языком, Алексей прошамкал: "Лучше не бывает..." И улыбнулся. Конечно, то, что он изобразил на своём лице, даже с большой натяжкой трудно было назвать улыбкой, но Наталья Григорьевна всё поняла и расхохоталась в ответ. "Дорогой ты мой! С меня бутылка!.. Давай, Богомол, поднимайся скорей, и мы твоё второе рождение отпразднуем! Согласен?" – и, не дождавшись ответа, вдруг низко наклонилась к нему и крепко по-женски поцеловала. Прямо в запёкшиеся растрескавшиеся губы.

А через две недели они уже сидели в ординаторской, пили неразбавленный спирт, наперебой открывали друг другу свои не слишком удачливые жизни. Пили, не чокаясь, за погибших родных и друзей. И, торопясь, словно опаздывая куда-то, говорили, говорили, потом замолкали надолго, и опять говорили, и смеялись, и плакали... И любили... Договорились встретиться после войны, Алексей усмехнулся: "В 6 часов вечера..." Но... не встретились. Не сложилось... Что ж, бывает...

"Где ты, спасительница моя? Жива ли?.."

Уняв боль в груди, Алексей двинулся дальше. Подойдя к церкви, он тщетно попытался отмыть приставшую к сапогам грязь в разлившейся у порога луже, но, сколько ни тёр кирзу пучком пожухлой травы, ничего толком не добился. Только руки испачкал и рукава плащ-палатки замочил. Он скинул сапоги на крыльце, достал из глубокого кармана связку ключей но, прежде чем открыть храм, тщательно осмотрел тяжёлый, ещё дореволюционной работы амбарный замок с секретом и тайные, одному ему известные ловушки – не пробовал ли кто отомкнуть или взломать дверь?

С тех пор, как взяли отца Серафима, какая-то нечисть постоянно норовила залезть в храм. Алексей догадывался кто, но... "Не пойман – не вор." Вот и приходилось пускаться на всякие хитрости, чтобы если и не схватить вору за руку, то хотя бы церковное добро уберечь. Самые драгоценные, старинные иконы в дорогих окладах он роздал на сохранение надёжным бабкам и единственному на всю округу непьющему из-за жесточайшей язвы желудка старику, а всю церковную утварь хранил у себя в избе, для чего специально соорудил хитрый тайник – на случай, если разбойник вздумает в дом к нему забраться. И только в престольные праздники, когда приезжал из города благочинный, все спрятанные иконы возвращались в церковь, так

что казалось, будто по деревне крестный ход: идёт из всех домов тянулись к храму аккуратно прибранье, в белых платочках бабульки с образами на руках.

Но сегодня всё было на месте: восковая печатка в самом низу двери у порога не тронута, конский волос у притолоки цел и невредим. Да и сам порог, посыпанный тонким слоем золы из печи, девственно чист. Перекрестившись, Алексей повернул ключ в замке.

В храме царил полумрак. Тусклый день с трудом пробивался сквозь закрытые ставнями окна, и лишь на иконостас падал неяркий свет из-под высокого купола центрального придела. В гулкой пустоте каждый звук, даже шорох отзывался ласковым эхом, так что чудилось, будто тёмные лики, глядящие с икон, перешептывались друг с другом о чем-то неведомом нам. О вечном.

"Хошь, не хошь, а в город завтра пойдешь," – с досадой подумал Алексей, открыв свечной ящик. На дне его сиротливо лежало всего несколько свечей. Он не любил эти вынужденные поездки и всякий раз старался отложить "на потом", уговаривал себя, упрашивал.

От деревни до города почти шестьдесят километров, и, чтобы попасть туда, надо было сначала добраться до большака. Либо пешком напрямки через лес, а это версты три, не меньше, либо уговорить Акима рискнуть и попытаться проехать километров пятнадцать на стареньком мотоцикле по разбитой просёлочной дороге. Однако, учитывая нынешние метеоусловия, а также запойное состояние мотоциклиста, и тот, и другой путь являл собой изрядную проблему. По шоссе два раза в день ходил рейсовый автобус, о чём возвещала железная табличка с буквой "А", прибитая к телеграфному столбу и обозначающая, по-видимому, остановку. От ветров, жары и стужи, от снега и дождей надписи на этой табличке почти все стёрлись, и разобрать время прибытия или отправления автобуса из данного пункта было практически невозможно. Следовательно, приходилось полагаться на удачу и на наше вечное "авось". Тем более, автобус этот, по всей видимости, был сработан ещё во времена постройки Ноем своего ковчега, и, попав в его обшарпанное нутро, где местами вместо сидений, обтянутых залатанным дерматином, были привинчены к полу обычные табуретки, и даже купив за шестьдесят четыре копейки крохотный бумажный билетик, солидно именованный проездным документом, пассажир вовсе не был уверен, что благополучно попадёт в пункт назначения данного маршрута. Отнюдь.

Поэтому Алексей предпочитал добираться до города на попутке. За "рупчик". И надёжней, и веселей. О чём только не переговоришь в дороге с шофёром? Столько новостей узнаешь!

Он невесело улыбнулся своим мыслям, достал из ящика тоненькую свечу и пошёл в правый придел, где на стене возле окна висела его любимая икона Пресвятой Богородицы – "Умиление".

Как только Алексей переступал порог храма, его неудержимо влекло к Ней. Так сын спешит к матери, чтобы рассказать всё о своих бедах и напастях, поделиться радостью, попросить совета. А Она уже ждёт – чуть склонила голову к правому плечу, сложила молитвенно руки на груди и прикрыла глаза... "Что у тебя?.. Говори, не бойся, я всё приму, всё пойму, бедный, несчастный мой человек..." И грудь стесняется необъяснимым волнением, и душа трепещет от страха и восторга, и слова молитвы сами вырываются из глубины сердечной!.. Но что самое поразительное – на иконе Она одна!.. Сын Её сладко спит в своей колыбели, поэтому говори. Говори, не смущайся, видишь, Она с тобой? Она ждёт. Только будь осторожен – сон Его очень чуток. Не потревожь.

Ещё на фронте, во время одной из коротких ночёвок в безымянном белорусском селе попался в руки Алексею измятый листок бумаги из школьной тетради в клеточку. На измятой страничке корявым, то ли старческим, то ли детским почерком была переписана молитва: "Вопль к Богоматери". Молитву эту он запомнил сразу, слово в слово, а сам листок зашил в ладанку, которую всегда носил на груди. Кто знает, может, вовсе и не Наталья Григорьевна, а этот клочок бумаги спас его тогда, в 44-м?..

"О чём молить Тебя, чего просить у Тебя?..

Ты, всё претерпевшая, всё премогшая, всё поймёшь.

Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнёт горя.

Ты, получившая в наследство весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой.

Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мною Ты пролила её, и пусть смоет она следы моих прегрешений.

Пусть очистит душу мою.

Вот я пришёл, я стою, я жду Твоего отклика, о Всепетая, о Владычице! Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Только сердце моё, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бросаю к Пречистым ногам Твоим, Владычице!..

Дай всем, кто зовёт Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе... Аминь!.."

Держа в руке зажжённую свечу, он, стоя на коленях перед Матерью Небесной, всем сердцем, всей глубиной своей изнемогшей от необъяснимого счастья и великой скорби души повторял слова молитвы, и слезы сами текли по его щекам.

Скрипнула дверь, кто-то вошёл в церковь. Алексей смутился и, утерев слёзы, медленно поднялся с колен.

– Есть тут кто живой?

"Оо-ой!.." – голос вошедшего отозвался под сводами храма гулким эхом.

У дверей стоял незнакомый человек. Небольшого роста, в стареньком, но опрятном ватнике, в шерстяных, домашней вязки носках (обувь он, видать, тоже оставил за порогом), с небольшой котомкой за плечами. Незнакомец с первого взгляда производил какое-то светлое, аккуратное впечатление. К тому же слегка вьющиеся волосы на голове, брови и даже ресницы над прозрачными серыми глазами были у него совершенно белого цвета.

– Доброго здоровья, – сказал он, почтительно склонив голову.

"Точно братец Иванушка из сказки, " – подумал Алексей и тоже поклонился.

– Здравствуйте.

– А ты никак раб Божий Алексей? Я не напутал? – улыбнулся "братец Иванушка".

– Да нет... – раб Божий был удивлён. – Он самый.

Незнакомец негромко рассмеялся.

– А ведь ты угадал: меня Иваном зовут. Что смотришь? Или что не так?

– Почему?.. – Алексей растерялся, этот человек совершенно сбил его с толку – Всё так...

– Что с отцом Серафимом?.. Куда это он подевался?..

– А-а!.. Так вы к нему? – осведомлённость незнакомца становилась понятной.

– К нему, мил человек, к нему... Жив ли?.. Здоров?..

– Забрали его... Уже пять лет, как забрали. А жив он, здоров ли – неведомо. Шесть лет вкатили... без права переписки.

– То-то я смотрю, избёнка его заколочена. Я, грешным делом, решил, и церковь порушили, это по нынешним временам – вещь, прости Господи, обыкновенная. Ан нет, еще изда-лека угадать можно – живой храм, тёплый. Видать, твоими стараниями, Алёша?

– Моя заслуга в том невелика, – Алексей смутился. – Я что?.. Староста... От меня требуется убрать, протопить, свечами да лампадным маслом запастись, и всё... Вот председатель нашего колхоза Герасим Тимофеевич, тот – другое дело!.. Это он перед властями хлопочет... В прошлом году добился, наконец: теперь наш Храм архитектурно-исторический памятник.

– Ишь ты!

– Он, хотя и член партии, председатель наш, но верующий. Не напоказ, конечно, тайком, но... даже посты соблюдает.

– Дай Бог ему здоровья... А за что же Серафимушку в кутузку упекли?

– По 58-й статье. Антисоветская агитация.

– Поди ж ты!.. Он как будто прежде в пристрастии к политике замечен не был? Алексей невесело усмехнулся.

– И смех и грех... Если бы не приговор – анекдот... Честное слово, анекдот.

– Ну-ка, расскажи. Интересно. Люблю анекдоты послушать.

– В пятьдесят втором великий пост начинался как раз восьмого марта. А нашим мужикам что? – Только повод дай... Три дня женский день отмечали... Их у нас, правда, всего шестеро после войны осталось, но загуляли они знаменито!.. До безчувствия. Бабка Евдоха, к примеру, своего Акима в хлеву нашла: в обнимку с поросёнком спал. Батюшка и врезал им всем по первое число. В воскресенье, после литургии, такой разнос учинил!.. Выстроил всех шестерых перед амвоном и начал: "Это что за праздник такой – 8 марта?!.. Не знаю такого!.. Где это видано, чтобы в честь какой-то безчувственной цифири гулянки устраивать?!.. В чистый понедельник особо блюсти себя должно. А вы?!.. До чего себя довели?!"

Облик человеческий совсем потеряли! Нас Господь создал по образу и подобию Своему, за что же вы Его так срамите?!." Ну, мужики, те устыдились, а комсомолия наша... Есть тут у нас один... Никитка Новиков. Его за характер гнусный "Гнойниковым" кличут. Прыщавый весь, от горшка два вершка, но гонору!.. Глаза горят, прыщи наливаются, в одном интересном месте зуд непрерывный!.. Одним словом – настоящий комсомольский вожак. Вот он и накатал донос... Пакостник!.. Всей деревней к нему ходили, упрашивали: "Забери писульку свою!.." Куда там!.. "Конечно, – говорит, – батюшку жалко, но идеалы коммунизма мне дороже". На мать его больно смотреть: с тех самых пор голову поднять боится, перед людьми совестно.

– А "вожак"?

– Что ему сделается? Ещё выше нос задрал: про него в районной газете статью напечатали с портретом "Комсомольская совесть не дремлет".

– А нормальная, человеческая, видать, навеки почил. Испокон веку у людей одна совесть была, а теперь, гляди-ка, новая объявилась – "комсомольская"! – Иван всерьёз опечалился. – И чего только не придумают, нехристи. Розог бы вожаку вашему, а не статью с портретом!

– Куда там!.. В партию, говорят, собрался.

– Вот-вот, туда ему, подлецу, дорога... Прости, Господи!..

– И то верно...

– Да-а, презабавный анекдотец ты мне рассказал... Очень смешной...

Помолчали.

– Ладно, пойду я, мил человек, пора мне.

– Куда же вы? – засуетился Алексей. – Теперь дни короткие, часа через полтора-два совсем стемнеет. Переночуйте у меня, а уж завтра... Я бобылём живу, и вы меня совсем не стесните.

Если бы его спросили, зачем захотелось удержать ему незнакомца, он не смог бы ответить, но и расстаться вот так... сразу... с этим необычным человеком, казалось невозможно.

– Спасибо за приглашение, – улыбнулся Иван. – И в самом деле, спешить мне некуда.

– Вот и ладно, – обрадовался Алексей. – Только простите, как вас по отчеству?

– А ты как думаешь?..

– Иванович?

– В самую точку попал, – рассмеялся Иван Иванович. – Но давай-ка мы с тобой без отчества обойдёмся. И "выкать" перестань, мы с тобой ровесники, полагаю.

– Привычка, – Алексею стало неловко. – Я ко всем так... на "вы" обращаюсь.

– А ко мне – "ты". Ведь у всех нас один отец, и все мы воистину братья и сестры. Ведь так?

– И то верно, – Алексей смутился. – Мне печку протопить надо... Подождёшь?.. Я быстро.

– Конечно, конечно... – видно было, доволен Иван. – Я и подсобить могу. Негоже, чтобы храм стылым стоял. Нехорошо.

И они дружно принялись за дело.

3

Прошла целая неделя с тех пор, как Павел Петрович узнал, что свободен. Его тут же перевели из барака в лагерную гостиницу, которая находилась на задах клуба и представляла из себя кирпичную пристройку, где были всего лишь две десятиметровые комнаты и тёплый "клозет". С одной стороны это, конечно, было определённым удобством: не надо всякий раз, даже по малой нужде, выскакивать на улицу, но, с другой... Обычные в таких заведениях миазмы отравляли существование немногочисленным постояльцам, и даже устойчивый запах хлорки был не в состоянии их заглушить. Но с этим неудобством приходилось мириться и бывший зэк Троицкий терпеливо ждал, когда закончится оформление всех его документов.

Погода испортилась. На смену морозным солнечным дням пришли молочные густые туманы, временами оседавшие на землю мелкой занудливой моросью...

И Павел всё это время жил, точно в тумане: ощущение нереальности происходящего не покидало его. Это не он, а кто-то другой, вместо него, ходил, ел, спал. Это не он, а кто-то другой имел теперь право, когда вздумается, выходить за лагерные ворота и идти на все четыре стороны. Правом этим он, правда, не пользовался, так как выходить ему было некуда и не к кому. Это не ему, а кому-то другому охрана говорила "вы", а начальник лагеря брал под козырёк: "Здравия желаю, товарищ генерал!" Это не его, а кого-то другого перевели с барачных нар на пружинную кровать лагерной гостиницы, и, конечно, вовсе не для него застелили её чистым бельём, от которого пахло не карболкой, а хозяйственным мылом.

Павлу Петровичу выдали со склада две пары белья, три рубашки, шевиотовый костюм, драповое пальто, шарф и даже фетровую шляпу. Таким образом, гражданин Троицкий с полным правом мог теперь именоваться товарищем. Ура!.. Но, если честно, в этом его перевоплощении из зэка в свободного человека было что-то... нечеловеческое...

Он с удивлением разглядывал нелепую, смешную фигуру, возникшую перед ним в зеркальном отражении. На худом, сгорбленном теле, как на сломанной вешалке, висело пальто примерно на полтора размера больше, чем для этого тела требовалось. Из-под длинных рукавов едва-едва высовывались кончики пальцев, а тонкая, как у гусака, шея, вытягивалась из широкого отложного воротника во всю свою замечательную длину. "*Чучело* огородное!" – с отвращением подумал Павел Петрович. Он засунул руку в карман и нашупал там мягкую гладкую кожу – черные лайковые перчатки. Настоящая роскошь! 18 лет руки его не знали этого нежного прикосновения. Но, с трудом натягивая перчатки на красные заскорузлые пальцы, он, как Митя Карамазов, хотел закричать: "Узко!" – и в отчаянии повторял: "Не моё!.. Не моё!.." С колоссальным трудом стащил роскошные перчатки, отбросил в сторону.

Павлу было стыдно, неловко, тошно и казалось, он не только не в свою шкуру залез, но, что гораздо хуже, в чужую жизнь.

Две с лишним недели назад в кабинете начальника лагеря усталый человек в штатском с недовольным, брезгливым выражением на сером лице прочитал постановление о реабилитации, дал расписаться в какой-то бумажке, еле слышно буркнул себе под нос: "Поздравляю", коротко пожал руку ватной, безвольной кистью и уткнулся в лежащие на столе бумаги. Всё было просто, скучно, обыденно. Ни счастья, ни даже радости Павел не испытал.

"Что ж!.. Наверное, так и надо кто знает? Великие перемены в жизни человека должны совершаться буднично. Без оркестра и фейерверков".

Но почему кислое выражение начальственного лица всё время стояло у него перед глазами, а кисельное рукопожатие наводило на мысль, что ничего особенного, а тем более радостного в его жизни не произошло, и главные сложности только ещё начинаются?..

Павла официально никто не судил, он никогда не слышал: "Встать! Суд идёт!.."; никогда не видел своего приговора и потому понятия не имел, сколько лет ему осталось провести за

"колючкой". Он ничего не ждал, ни на что не надеялся, а если внезапно вспыхивала шальная мысль о свободе, то гнал её от себя с каким-то яростным ожесточением. Может, от этого нечаянная воля так обезволила его?..

"Да-а, товарищ Троицкий... Почему-то всё это сильно смахивает на скверный, несмешной анекдот!.."

– Чудак!.. Право слово, чудак, – отец Серафим укоризненно качал головой. – Ему ликовать надо, а он сокрушается. Ох, люди-человеки!.. Никак не угодишь вам. Когда вы научитесь Господа благодарить, что не оставил вас Своим попечением?..

Павел готов был и Господа благодарить, и батюшку, но ничего не мог поделать с собой. Непонятно откуда взявшаяся тоска навалилась на него, и стало вдруг жалко расставаться со своим баракком и с теми немногими друзьями, которыми успел обзавестись в этом невесёлом, скорбном месте.

Генерал-лейтенанта Троицкого вызвали в райвоенкомат. До ареста в 38-м он был в ранге комбрига, что в новой табели о рангах соответствовало именно такому званию. Всё правильно. Но, когда он взял в руки бланк повестки, отпечатанной на серой обёрточной бумаге, сердце у него ёкнуло, и неприятно засосало под ложечкой.

"Что за дурость!.. – разозлился Павел. – Нервы, как у барышни!.." И, засунув повестку в карман, не спеша зашагал к трамвайной остановке.

Удивительная вещь – поездка в трамвае!

Заходишь в тёплый вагон, покупаешь у полной добродушной бабы с кожаной сумкой на груди бумажный билетик, садишься у запотевшего окна и... едешь!.. Тебя не везут, а ты едешь... Сам!.. И, если захочешь, в любую минуту можешь сойти на следующей остановке!.. Колёса ритмично постукивают на стыках, вагоновожатый перед каждой остановкой и отправлением радостно звонит, вагон болтает из стороны в сторону, а за окном в очнувшейся памяти проплывает московское бульварное кольцо, и знаменитая "аннушка", позванивая, бежит по нему, торопится...

Павел улыбнулся и прикрыл глаза рукой, чтобы подольше удержать сладкую волну нахлынувших воспоминаний.

– Следующая остановка "Большая Советская"!.. Кто спрашивал?..

– Спасибо большое! – Павел двинулся к выходу.

Дородная кондукторша, издав себя признавая в нём бывшего зэка, сочувственно поинтересовалась:

– Вам, товарищ, куда?

– Мне военкомат нужен. Где он у вас?

– Проще-простого. Как сойдёшь, на "мальша" посмотри, он тебе точную дорогу ручонкой своей и укажет.

– На какого "мальша"?

– Мы так нашего Ильича зовём. Любовно зовём, ты не думай.

Дело в том, что центральную площадь города украшал замечательный памятник. На трёхметровом гранитном постаменте во весь рост стоял вождь мирового пролетариата. А чтобы никто не усомнился в этом, на розовом граните высекли пять букв – "ЛЕНИН". Для пущей красоты покрыли буквы бронзовой краской, и памятник получился на загляденье!.. Одно смущало – ростом Ильич не вышел. То ли северный климат так на него повлиял, то ли ещё что, но был он меньше метра. Честное слово! И такой худенький!.. В чём только душа держалась?..

Павел вспомнил: такие статуэтки продавались в Москве, в Художественном салоне на Петровке. Их скупали завхозы в кабинеты своих начальников. Для большей солидности и авторитета. В ассортименте и Сталин там был, и Маркс с Энгельсом, но Ильич пользовался особым спросом.

Вообще-то в городе собирались поставить товарищу Ленину нормальный памятник, но деньги, отпущенные горисполкому на монументальную пропаганду, куда-то исчезли. Только бронзовую голову Владимиру Ильичу успели отлить, а с туловищем неожиданно вышла заминка. Не было у вождя мирового пролетариата туловища. Исчезло неведомо куда, одна голова осталась. Что делать?.. Постамент готов. Не сносить же его из-за отсутствия тела!.. И тут до смерти перепуганного скульптора осенила гениальная идея: водрузить на постамент то, что имелось в наличии – отлитую голову. Без тела. А что?.. Оригинальное художественное решение. Тем более, что голова получилась замечательная – на оригинал исключительно похожа!..

Рассказывают, будто глубокой ночью её, голову то есть, тайком привезли на площадь и в присутствии предисполкома, секретаря горкома и начальника милиции примерили к постаменту. Смотрелся памятник недурно, но, во-первых, голова была в кепке, что лишний раз подчёркивало отсутствие туловища. Во-вторых, вблизи постамента угадать, что за голова стоит наверху, было достаточно трудно, так как любопытствующий мог разглядеть только широкий лоб вождя мирового пролетариата, покрытый всё той же кепкой. И, в-третьих, невольно возник вопрос: какой такой паразит нашему Ильичу голову посмел отрубить? Короче, совершенно неприличные ассоциации напрашивались сами собой, одна другой оскорбительней.

Поэтому скульптора очень вежливо поблагодарили, долго трясли его потную ватную ладонь, на следующий день дали 8 лет с конфискацией, после чего дружно скинулись "на троих", чтобы на Петровке приобрести новый вариант монумента. Не беда, что комнатный. Для чего сами себя отправили в командировку в Москву. Там неделю погуляли, после чего без всяких торжеств доставили чугунное изваяние в город. А голову спрятали так, что до сих пор никто отыскать не может.

Памятник открывали торжественно, но... не слишком. Предисполкома быстренько произнёс речь. Оркестр сыграл "Интернационал", местные пионеры за отсутствием цветов сложили у подножья еловые ветки, начальство отправилось на банкет, а чугунный Ильич стал главной достопримечательностью города.

Народ прозвал монумент "малышом", порой посмеивался над коротышкой, порой злорадствовал, но чаще жалел беднягу и даже любил – хотя и махонький, но свой!.. Ленин, он ведь и в малом велик! На этом программа монументальной пропаганды была исчерпана, и к ней решили больше не возвращаться. Никогда.

Всё это Павел Петрович узнал от общительных пассажиров трамвая, пока тот неспешно катил к Большой Советской, а когда "сошёл с трамвая", то убедился, что крохотный Владимир Ильич действительно показывает правой рукой на двухэтажное здание, в котором одновременно помещались райвоенкомат, райсобес и райобхсс.

"Вот оно! – самое райское место на земле", – усмехнулся Павел Петрович и вошёл в подъезд.

Военком, розовощёкий бодрый "старлей", встретил его как родного. Крепко пожал руку, предложил чаю, а когда тот отказался, достал из сейфа початую бутылку грузинского коньяка, осудил культ личности, пригласил на рыбалку, разлил коньяк по стаканам, признался, что болеет за "Динамо", но любимый форвард – Эдик Стрельцов, выпил за двоих, обещал познакомиться с одной очень интересной дамой, похвалил Хрущёва, пожаловался на боли в спине и маленькую зарплату, пообещал показать коллекцию киноартистов – почти все с автографами... И всё это между делом, в сумасшедшем темпе, доставая из разных папок нужные бумаги и тут же возвращая их на место.

"Сколько энергии зря пропадает", – подумал Павел, подписывая очередной документ.

Через полчаса с формальностями было покончено. В кармане у Павла Петровича лежал военный билет, целый пакет непонятных, но очень нужных бумажек с жирными круглыми печатями и без, билет до Москвы в купейном вагоне и внушительная сумма денег. Насколько она была внушительна, Павлу Петровичу предстояло узнать чуть позже. Капитан по-прежнему

весь светился радушием и излучал неиссякаемый оптимизм, оставалось пожать ему руку и расстаться с бодрячком навсегда...

Но тут взгляд Павла Петровича в который уже раз упал на стол военкома, где поверх бумаг лежала свежая по здешним меркам, то есть поза-позавчерашняя, "Красная звезда". Он давно уже не читал никаких газет и относился к ним исключительно как к туалетной бумаге, но эта привлекла его внимание сразу, лишь только он вошёл в кабинет...

Почему?.. Объяснить он не мог.

Дурость какая-то!..

На первой полосе "Звёздочки", как, впрочем, и во всех остальных газетах нашей необъятной Родины, начиная от районной и кончая самой главной – "Правдой", был напечатан отчёт об очередной сессии Верховного Совета СССР. Эти отчёты занимали собой целые номера, от корки до корки, и читали их исключительно те, кому по должности положено было "быть в курсе", а потому в обязательном порядке штудировать передовицы, тезисы и доклады. А прочее народонаселение страны складировало эти номера на случай ремонта или иных хозяйственных нужд, даже не раскрывая. Чем же эта так привлекла его?.. Словно приворожила...

И вдруг понял, отчего всё время, пока он находился в этом кабинете, его так тянуло взглянуть на стол военкома ещё и ещё раз.

В нижнем правом углу газетной полосы была напечатана фотография группы депутатов Верховного Совета, а среди них, как показалось Павлу Петровичу, угадывалось знакомое лицо.

– Можно взглянуть? – почему-то робко и неуверенно спросил он.

– Об чём разговор, товарищ генерал?.. – капитан с готовностью протянул ему газету.

От волнения руки Павла Петровича слегка дрожали, и, чтобы унять эту дрожь, он, прежде, чем взять её, глубоко вдохнул и медленно, протяжно выдохнул.

С газетной страницы на него смотрело до боли знакомое лицо... Среди увешанных орденами и медалями доярок и передовиков производства стоял... он.

"А ты располнел, братишка", – первое, что подумал Павел, и... улыбнулся.

Капитан слегка растерялся: что забавного может быть в материалах сессии Верховного Совета?.. Но вида не подал.

– Вы не могли бы мне... – Павел Петрович никак не мог сообразить, что именно должен сделать с этой газетой капитан. Продать?.. Одолжить?.. Подарить?..

– Берите, берите, товарищ генерал, – обрадовался военком. – Я и не читаю её совсем. Я как-то, если честно, "Советский спорт" предпочитаю.

– Безконечно вам признателен, – Павел Петрович взял газету и, словно оправдываясь, объяснил. – Я тут знакомого одного увидел, хочу на память сохранить.

– Я понимаю, – капитан с готовностью пожал протянутую ему руку и радостно закивал головой, хотя не понимал ровным счётом ничего.

4

Алексей собирал на стол. Прошло четыре дня, как на пути его повстречался Иван – этот странный, удивительный человек, и не хотелось думать, что настанет час и расстанутся они навсегда. Словно и не встречались вовсе.

Сколько таких мимолётных встреч за долгую жизнь пережить пришлось?.. Не счесть!.. И Алексей придумывал разные отговорки, чтобы ещё хоть на день удержать нечаянного гостя в своём доме. Тот, правда, не слишком сопротивлялся. Самовар призывно шипел, со звоном выбрасывая из клапана на крышке тонкую струйку пара.

– Алёшка! Самовар поспел! – радостно возвестил Иван, фырча и постанывая под струей ледяной воды, льющейся на его поджарое мускулистое тело из самодельного душа, что соорудил Алексей у себя во дворе.

Странный, странствующий, странник... И почему таких людей "бродягами" обзывают?.. Что странного в том, что человеку не сидится на одном месте, а бродит он по земле от одного дома к другому? Может, у него забота какая или так ему свыше предначертано – отыскивать тех, кто в его помощи нуждается, и подавать её сырым и одиноким?..

Алексей вышел на крыльцо. Самовар разошёлся вовсю: самодовольно раздуваясь от пара, он сопел, пыхтел, клочкотал!..

– Завтракать пора!

– Знаменито! – Иван уже вытирался широким льняным полотенцем и кричал от удовольствия.

Как будто нарочно, с появлением в его доме нежданного гостя погода исправилась: на смену затяжным, унылым дождям пришли ясные, солнечные дни, и, хотя по утрам легкий морозец схватывал корочкой льда лужи во дворе, а трава покрывалась седыми каплями замерзшей росы, солнце согревало промокшую землю, и кое-где даже свежая зелень пробивалась сквозь пожухлую жёлтую траву. И с души Алексея спадала унылая зябкая тоска.

Что ей надо, одинокой больной душе?.. Чтобы выслушали... Чтобы поняли... А остальное?.. Как-нибудь приложится...

Иван в глазах Алексея обладал редким качеством – умел слушать. Не часто такого встретишь: люди в большинстве своем поговорить любят. А Иван, подперев подбородок кулаком, надолго замолкал, как бы предлагая собеседнику: "Ты говори, говори, не тушуйся, я слушаю. Всё выкладывай, до самого доньшка".

И Алексей всё ему рассказал. И о том, как был счастлив, и какое непереносимое горе испытать довелось, и как смерти искал, но не нашёл, и о том, как от новой любви отрёкся, а сердце навек оледенеть заставил. И, хотя порой подкатывал к горлу комок невыплаканных слёз, держался, не позволял себе распускаться. Кто он – мужик или кисейная барышня?..

– А ты поплачь, поплачь, – то ли уговаривал, то ли утешал его Иван. – Это какой-то полудурок придумал, будто мужику плакать не след. Ему, мню, пуще баб это нужно. Наш век, может, потому и короче ихнего, что боимся мы душу свою слезами омыть. "Блаженны плачущие, ибо они утешатся..." Помнишь, как Серафимушка любил повторять: "Слезам душа умывается". Плачь, Алёшка, не таись... И я с тобой...

И два взрослых мужика беззвучно плакали, не стесняясь, не таясь. Но без слёз. Из последних сил держались.

И душа Алексея, истерзанная безконечным лихим одиночеством, жутким холодом ночных кошмаров, бедная душа его потихоньку стала оттаивать, грелась под ласковым взглядом серых страдальческих глаз. Нет, не только немецкий осколок сидел у него в груди все эти годы, но тяжкий камень невысказанной, неразделённой боли теснил его израненное сердце. Иван помог ему снять с души этот камень. Чем отблагодарить его за это?..

Алексей никогда и никому не рассказывал то, что поведал Ивану.

Почему?.. Во-первых, стеснялся взваливать на чужие плечи свои "негоразды" – как любил говорить отец Серафим. А во-вторых, некому было. Не станешь же ни с того ни с сего выкладывать первому встречному своё самое сокровенное, наболевшее.

Иван – другое дело.

Он не встречный, а посланный. Это Алексей понял сразу. Видно, батюшка Серафим постарался и молитвами своими направил стопы Ивана в Дальние Ключи.

Уже после первого чаепития в день их знакомства, он спал сладко, без мучительных снов. А утром впервые ощутил в груди не тупую боль, а покой и тихую радость.

Алексей Иванович Богомолов, сын приходского священника, не пошёл по стопам своего отца. После окончания гимназии уехал в Москву, поступил в университет на классическое отделение филологического факультета, который блестяще закончил в 14-м году. Его дипломная работа была опубликована в научном журнале. Седовласые профессора с нежностью раскрывали ему свои академические объятия: "Вас ожидает прекрасная карьера, молодой человек!" – и многозначительно кивали головами. Но началась Первая мировая война. Все Богомолы, во все времена верноподданно служили царю и отечеству, и Алексей, повинувшись гражданскому долгу, оставил филологию до лучших времён и добровольцем пошёл на фронт. Правда, повоевать ему на этот раз не довелось. Эшелон, в котором он направлялся на передовую, каким-то неведомым образом заблудился. Как всегда, виноват в этом оказался стрелочник: неправильно перевёл стрелку, и состав российских патриотов на всех порах влетел в расположение немецких войск. Без единого выстрела весь эшелон был взят в плен, и 4 года Алексей провёл в концентрационном лагере в Восточной Пруссии. В Москву Богомолов вернулся только в 18-м, после того, как большевики подписали Брестский мир.

Ещё в университете Алексей влюбился в Анечку Калинину – очаровательное существо с бездонными ярко-синими глазами и толстой каштановой косой. Прелестная девушка дождалась своего суженого, и в июне 18-го они обвенчались. Через год у них родилась Настенька, и, казалось, не было на всём белом свете более счастливой семьи. С научной карьерой пришлось распрощаться навсегда: проблемы Септуагинты почему-то совершенно не интересовали большевиков, и Богомолов хватался за любую работу, только бы девочки его не знали нужды ни в чём. Приходилось и вагоны разгружать, и улицы мести, и чужие чемоданы на вокзале таскать, и дрова для котельной пилить. В самые трудные времена Алексей не унывал, переживал все напасти с лёгким сердцем, потому что был по-настоящему счастлив. Анечка помогала ему, как могла. А когда жизнь понемногу наладилась, оба стали преподавать в школе. Он – литературу, она – географию. Так и жили: небогато, но дружно и весело.

После школы Настенька по совету отца поступила в университет, но через 2 года, когда вся страна сидела у радиоприёмников и с замиранием сердца следила за героическим дрейфом папанинцев, всё бросила и уехала зимовать за полярный круг, на Маточкин Шар, простой лаборанткой. Там она встретила своего героя – лётчика полярной авиации Николая Стёпушкина, и в октябре 38-го сорокашестилетний Алексей Иванович Богомолов стал счастливым дедушкой.

21-го июня 41-го года Коля Стёпушкин на Белорусском вокзале провожал тестя с тещей и жену с двухлетней Алёнкой. Они уезжали к его родителям в Лиду на всё лето. Был тёплый летний вечер. Вовсю цвели липы, и разогретый за день асфальт медленно остывал под струями ледяной воды из дворницких шлангов. Весело звенели трамваи, переливались милицейские трели, на разные лады гудели автомобили. Как здорово жить на этом свете! И сердце полярного лётчика так сладко сжималось от невысказанной нежности и любви!.. Выпуская клубы белого пара, протяжно прогудел паровоз, лязгнули колёса, и, пока состав не скрылся из виду, Николай стоял на самом краю перрона и всё махал, и махал рукой. Так он прощался с самыми родными и любимыми. Прощался навсегда.

Ночью проехали Минск, а ранним утром уже в Молодечно поползли по составу тревожные слухи, среди которых чаще всего повторялось грозное слово "война". Здесь поезд по расписанию должен был стоять 15 минут, и Алексей выскочил из вагона, чтобы разузнать обо всём подробней.

Налёт фашистских самолётов на вокзал в Молодечно длился недолго: десять минут, не больше, но, когда Алексей выбрался из-под обломков рухнувшего на него газетного киоска, вокруг дымились воронки, а вместо вагона, в котором ждали его его девочки, нелепо торчала на рельсах гряда искарёженного металла.

"Аня!.. Алёнка!.. Настенька!.." – ему казалось, грудь его разорвётся от жуткого нечеловеческого крика, но лишь хриплый шёпот срывался с его губ.

Кое-как на попутках Алексей добрался до Минска, бросился в ближайший военкомат с одной-единственной просьбой: "Отправьте на фронт!" Везде царил страшная неразбериха, жуткая паника, если не сказать истерия. Никакого фронта не было и в помине, но Алексею, несмотря на его совсем непризывной возраст – 49 лет, дали винтовку и вместе с тремя такими же случайными людьми отправили охранять какой-то завод. Как могли 4 человека это осуществить, никого не интересовало, тем более, что охранять уже было нечего, – завод, вернее то, что от него осталось, лежал в руинах. Отважная четвёрка решила пробираться на фронт самостоятельно.

Так получилось, что на этот раз Алексей воевал с фашистскими войсками с самого первого дня нападения Германии на Советский Союз.

Вопреки всем статистическим раскладкам, гвардии рядовой Богомоллов не погиб ни в первый, ни во второй, ни даже в трёхсотый день войны. Трижды был ранен, два раза – смертельно, но выжил, и, сколько не искал смерти, так и не сумел найти её.

В самом конце своего ратного пути, в госпитале, он встретил свою последнюю позднюю любовь – Наталью, но так получилось, что увидеться им после войны не пришлось, и Алексей поставил на своей личной жизни жирный крест.

Вернувшись после госпиталя в Москву, он обнаружил в своей комнате совершенно чужих людей, которые выезжать с занятой ими жилплощади вовсе не собирались. Спорить, а тем более судиться да рядиться с ними инвалид Великой Отечественной войны Богомоллов не стал. Ещё в госпитале Егор Крутов, сосед по палате, рассказал ему об отце Серафиме, и Алексей наудачу, даже не списавшись и не испросив позволения, приехал в Дальние Ключи, зашёл в храм к отцу Серафиму и остался здесь навсегда.

– Чудак человек, что же ты батюшке не пожалился? – Иван был искренне удивлён. – Неужто полагаешь, не понял бы он тебя?!

– Ему и без меня не сладко приходится. Я вообще удивляюсь, как может человеческое сердце столько чужого горя в себя вместить?!.. Ведь он один за всех нас перед Ним в ответе.

– Ошибаешься, за исповедью отец Серафим не одинок. Ему сам Господь помогает.

Этот разговор состоялся у них в первый же вечер, а потом, о чём только не переговорили!.. Засиживались допоздна, далеко за полночь, и, если бы можно было, Алексей бы и спать не ложился вовсе. Кончилось его одиночество!.. Надолго ли?.. Но так не хотелось, чтобы оно возвращалось. Вот и сейчас, внося кипящий самовар в избу, Алексей с тревогой ожидал: а вдруг Иван опять заговорит о своём уходе.

Сели за стол.

"Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремени, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения", – прочитав молитву, Алексей перекрестил накрытый к завтраку стол.

Солёные рыжики в сметане, горяченькая картошечка, густо посыпанная зеленью укропа и петрушки, сваренные вкрутую яички, солёные огурчики и помидорчики в одной миске с квашенной белокачанной капусткой, свежие ломти ржаного хлеба, жёлтое сливочное масло и

белый оковалок домашнего творога – настоящий пир для двух мужиков. Втайне Алексей полагал, что, может, хоть этим удастся удержать дорогого гостя. Не зря же с раннего утра обходил соседских бабок, выпрашивая у них всю эту роскошную снедь для своего гостя.

– Ты не обижайся, Алёшка, но вот позавтракаем, и уйду я от тебя. Хватит. А то, словно в синатории каком загораю. Не привык я бездельничать. Пора мне.

Алексей вздрогнул, как от удара: этих слов он пуше других боялся. Коротко взглянул на Ивана и снова уткнулся в свою тарелку. И уже завтрак был не в радость, и опять навалилась на сердце тоска.

– Я понимаю, – только и смог выдавить из себя, ковыряя вилкой ни в чём не повинные рыжики.

– Ничего ты не понимаешь. Со старцем Антонием поговорить надо. Два года у него не был. А это всё одно, что два года спёртым воздухом дышал. Ей-ей!.. Ты когда-нибудь слышал о нём?

– Отец Серафим говорил как-то, но... мельком... вскользь.

– Почему бы это?.. Они в одно время и в семинарии учились, и потом вместе на Афоне были... Хотя в нашей стране иной раз промолчать полезней бывает. Но тебе скажу: удивительный человек Антоний!.. Таких теперь, почитай, и не осталось вовсе. Прежде Русь старчеством славилась, а ноне... – он горько вздохнул. – Помяни моё слово: лет эдак через 20 ни одного старца на Руси не отыщется. Вымрут, всё к тому идёт. И будут люди наши бродить по голой земле сирые, неприютные.

Иван прикрыл глаза рукой и надолго замолчал.

– А этот старец чем знаменит? Какими чудесами? – осторожно спросил Алексей. – У нас в Ближних Ключах бабка одна живёт – Агафья. Так она, говорят, любую болезнь вылечить может. Травками, маслом лампадным да водой родниковой. Ну, и молитвой, конечно...

– Старец Антоний, Алёша, не знахарь и не чудотворец. Он душу человеческую лечит. Случалось и ему, конечно, хворь облегчить, но главное не телесное здравие, а душевное. От душевных недугов вся немощь наша телесная. Как полагаешь, мир, что вокруг нас, хорош?

Алексей усмехнулся:

– Куда как "хорош"!..

– А что увидел Господь, когда сотворил его? Помнишь, как в Ветхом Завете об этом сказано?..

– "И увидел Он, что ЭТО хорошо".

– Вот!.. Вот!.. И вдруг плохо стало. С чего вдруг?

– С чего? – эхом повторил Алексей.

– А оттого, мню, что человек в этот мир пришёл и, вместо того, чтобы жить по Его законам, стал свои порядки на земле устанавливать. А ведь сказано: "Без Меня не можете ничего". Но мы все такие умные, такие учёные!.. Мы всё сами осилим!.. И осилили: вместо райского мира, вышла карикатура, а вместо человека, подобного самому Господу, нарисовался шарж.

Скрипнула входная дверь.

– Лексей, ты дома?

– Дома, Егор, дома... Заходи.

По дощатому полу застучала деревянная нога Егора Крутова, а следом, и он собственной персоной появился в горнице.

– Доброго здоровья... Приятно кушать.

– Присоединяйся к нам. Я тебе тарелку сейчас поставлю.

– Благодарствую, не стоит беспокоиться, – Егор был трезв, а потому зол. – Я бы с удовольствием закусил, но ведь ты не нальёшь? – в голосе его прозвучала слабенькая надежда.

Алексей рассмеялся:

– И рад бы, да нечего. Ты же знаешь, у меня это зелье не водится.

– У тебя и зимой снега не выпросишь, – разочарование Егора было огромно.

Иван улыбнулся, встал из-за стола и, вытирая краешком полотенца рот, хитро подмигнул правым глазом:

– Ну, что же?.. Люди добрые, пора мне.

– Уже?!.. – еле выдохнул из себя Алексей.

– Ты не переживай, Алёша, на обратном пути опять загляну, больно мне у тебя понравилось. Как? Примешь?

– Только рад буду, заходи.

И обернулся к Егору:

– С чем пришёл?

Тот не спеша полез в карман, достал измятый конверт, разгладил его и аккуратно положил на стол:

– Весточка от отца Серафима пришла. Письмо тебе писано, но, прости, на конверте мой адрес, я и открыл. Не обезсудь.

Если бы сейчас здесь в избе ударила молния и прогремел гром, если бы закачалась и разверзлась земля, впечатление не было бы таким ошеломляющим, как от услышанного. Медленно, будто во сне, Алексей взял со стола конверт и почему-то долго, внимательно читал написанный на нём адрес. Потом поднял глаза на Ивана. Тот усмехнулся.

– Чему удивляешься? Узнал батюшка, что мы с тобой повстречались, решил о себе напомнить. Всё правильно. Что он там пишет? Читай, – и снова сел за стол.

5

Вернувшись из города, Павел первым делом пошёл к отцу Серафиму. Тот был у себя, в самом дальнем углу барака. "Серафимов закут" – так называлось это место.

Дело в том, что топчан батюшки был отгорожен от остального барачного мира прозрачной ситцевой занавеской. Здесь, в лагере, это был знак наивысшего отличия, особая привилегия. И политические, и уголовники отличали отца Серафима особым уважением. Политические – за его незлобивость, образованность, простодушие и недюжинный ум, а уголовники, те и вовсе почитали его чудотворцем – как-то раз он спас от неминуемой смерти их подельника.

Дело было так.

Когда в самом конце пятьдесят второго батюшка появился в лагере, не было, пожалуй, на всём белом свете более безропотного человека, чем отец Серафим. Тихий, кроткий, он благословлял шпану, когда та отбирала у него и без того скудную пайку, на злобные оскорбления отвечал ласковой улыбкой, без всякого принуждения мыл нужник, и, казалось, нет ничего, что могло бы лишить его внутреннего покоя и достоинства. Особенно преуспел в издевательствах над батюшкой один из блатных, а именно вор в законе Васька Щипачёв по кличке "Щипач". Он не просто отбирал у батюшки пайку хлеба, но просил при этом: "Святой отец! Покорми меня!" И принимал отобранный хлеб только из рук своей жертвы, чем приводил в неописуемый восторг всю братву. Когда Васька проигрывался в карты, отец Серафим, вместо него, должен был получать увесистые шелбаны или кругами бегать по бараку и кричать петухом. Зэки потешались над стариком и с любопытством следили за тем, как буквально у всех на глазах таял этот непостижимый поп, гадали, когда же он, наконец, загнётся, и недоумевали, почему смерть бежит от него...

Но!.. Факт остаётся фактом: вопреки всем законам природы отец Серафим жил!.. И помирать не очень-то торопился.

Прошло больше года.

И вот весной пятьдесят четвёртого, в марте, когда эковский рацион по обыкновению стал особенно скудным, случилось в лагере ЧП. Тот самый, вышеупомянутый "Щипач", ночью пробрался на продуктовый склад и, не выходя оттуда, съел столько, что так и не смог выбраться наружу. Обнаружил его ранним утром кладовщик Семён, когда зашёл на склад за продуктами. Схватившись за живот, Щипач катался по земле, выл, стонал, скрежетал зубами и умолял прибежавшую на зов Семёна охрану, чтобы та пристрелила его. Видно было – муки его непереносимы. Пришёл врач и, не осматривая Василия, тут же вынес безапелляционный приговор – заворот кишок. Не дни и даже не часы, а минуты несчастного были сочтены. Щипач, извиваясь от боли, корчился на полу, а охрана, Семён и безжалостный врач безмолвно стояли над ним. Ждали. Интересно бывает посмотреть, как подышает уголовник.

Но тут случилось оказаться поблизости отцу Серафиму. Увидев страдания своего "врага", он засуетился: схватил алюминиевую кружку, положил в неё комок снега, перекрестил и стал читать молитву. На глазах у изумлённой охраны снег тут же растаял. А через мгновение над кружкой поднялся пар и вода закипела. Мудрый доктор понимающе хмыкнул, а охрана нецензурно охнула и застыла. Батюшка протянул кружку Василию:

– Выпей, – только и сказал он.

– Издеваешься?! – прохрипел Щипач. Глаза его налились ненавистью и лютой злобой.

– Выпей! – опять сказал отец Серафим, но так серьёзно, с такой силой и убеждённо, что Васькино бешенство понемногу стало угасать. – Но перед тем, как первый глоток сделать, перекрестись и скажи: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!"

– Пей, пей, небось, проголодался? – ухмыльнулся кладовщик Семён, и вся компания дружно загоготала.

Василий перекрестился, сказал слова молитвы и, как маленький, открыл рот.

– Вот и умница, вот и молодец, – старик, поил его из рук. А тот пил короткими маленькими глотками, обжигаясь о края кружки, и глядел на своего "врачевателя" с изумлением и тревогой.

Прошло менее минуты, и Щипач осторожно отнял руки от живота, пугливо оглянулся на столпившихся вокруг людей и задушенным дискантом пропищал: "Не болит". Но тут же добавил уже более уверенно: "Клянусь, братцы... Век свободы не видать!"

Охрана озабоченно чесала затылки.

– Гипноз, – небрежно изрёк врач. – Вольф Мессинг и не такое на моих глазах творил. Жаль бедолагу, всё одно копыта откинёт.

Охрана сочувственно закивала.

Но вопреки столь компетентному мнению Василий выжил, никуда ничего не откинул, и с копытами у него всё было в полном порядке.

С этого дня авторитет отца Серафима в уголовном мире поднялся на небывалую высоту, а Василий Щепачёв – вор в законе с двадцатилетним стажем, отпетый уголовник и бандит – стал его самым преданным, самым верным другом и помощником. Это он добился у начальства лагеря, чтобы старика больше не отправляли на работы, пообещав, что за него будет выполнять норму, это он повесил ситцевую занавеску в Серафимовом закутке и заказал отныне всем и каждому не обижать старика.

Многие приходили сюда отогреться: пожаловаться, попросить совета или просто поболтать, а иной раз и помолчать, других послушать. Такие разговоры на своём жёстком топчане отец Серафим называл "чаепитиями". Не потому, что они на самом деле чай пили. Откуда?.. А потому, что напоминало ему это вечерние посиделки в родительском доме, когда у самовара, за круглым столом, под большим оранжевым, абажуром собиралась вся семья, и текла неторопливая мирная беседа, от которой, как говорил батюшка, "душа оттаивает, а в голове разуму прибавляется".

Но сегодняшний разговор его с Павлом совсем не был похож на домашнее чаепитие.

Многое пришлось пережить реабилитированному комбригу Троицкому за свои 54 года. Родился он в патриархальной семье. Уже несколько поколений Троицких посвящали свои жизни священству. Его отец Пётр Петрович был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы что в Замостье, в старинном русском городе с таким ласковым названием – Боголюбово, который большевики в двадцать четвёртом переименовали в трудно произносимое и неудобоваримое – Краснознаменск. Отец дал своему сыну традиционное православное воспитание. Павлик рос нормальным обыкновенным пареньком, по воскресеньям пел в церковном хоре, радовал своих близких успехами в учёбе, особым усердием во время богослужений не отличался, бывало, норовил пораньше со службы на рыбалку сбежать, но родителей почитал и слушался – словом, рос, как все в его возрасте растут, и вдруг!.. В "незабываемом" 1918-м тихий, послушный мальчик взбунтовался. Идеи мировой революции и всемирного братства угнетённого пролетариата овладели 14-летним пареньком.

Как отчаянно билось в груди мальчишеское сердце, когда тайком по ночам, укрывшись с головой одеялом, с огарком церковной свечи, он глотал зачитанные до дыр брошюрки Троцкого и Бакунина! С каким восторгом он положил перед секретарём местной ячейки РКСМ Вениамином Генкиным заявление с просьбой принять его в ряды только что созданного Российского коммунистического союза молодёжи! Как он был горд, когда товарищ Генкин крепко пожал ему руку и впервые тоже назвал "товарищем"!.. Правда, новоиспечённый "товарищ" чуть было не заплакал, когда написал прощальное письмо родителям и оставил его на письменном столе в кабинете отца, но всё же не сдался, пересилил себя и ушёл вьюжной декабрьской ночью из родительского дома. Ушёл со слезами на глазах, но с гордо поднятой головой. Ушёл навсегда.

Вихрь Гражданской войны подхватил его на своё крыло и унёс из родного Боголюбова.

Довелось красноармейцу Троицкому и на юге с Деникиным повоевать, и на востоке с Врангелем. Он прошёл всю Россию с запада на восток, брал Иркутск и закончил войну заместителем командира полка. Его гимнастёрку украшали два ордена Красного Знамени, у командования он был на хорошем счету, и молодого командира отправили на учёбу в Москву. К 24-му году он был уже членом партии и после окончания академии перед ним открылась широкая дорога в прекрасное будущее. И оно действительно обещало быть прекрасным. Павел Троицкий быстро продвигался по служебной лестнице и в 38-м стал заместителем начальника Генерального штаба. Собственно, карьера была сделана, и теперь оставалось только собирать сладкие плоды с дерева счастья. К тому же молодой интеллигентный офицер, красивый, прекрасно образованный, пользовался необыкновенным успехом у женщин. Головокружительные романы следовали один за другим. Сногшибательная черноокая брюнетка сменяла скромную голубоглазую блондинку, и друзья порой не могли угадать, как зовут очередную даму его любвеобильного сердца.

Как вдруг в 35-м дамский угодник остепенился: его избранницей неожиданно даже для самых близких друзей стала Зиночка Летуновская, никогда не блиставшая особенной красотой. Миленькая, стройненькая артистка кордебалета с удивлённо распахнутыми настезь глазами сумела сокрушить красавца Троицкого наповал. Через два месяца после знакомства они расписались в Мещанском ЗАГС-е Москвы. Молодым дали прекрасную трёхкомнатную квартиру в большом, только-только отстроенном доме на Чистых прудах. Что это значило в то время? Страшно сказать, но Павел и Зиночка... выиграли миллион!.. Да что там миллион?!.. Больше!.. Гораздо больше!

Кутежи в "Метрополе" прекратились, Павел забросил обязательный субботний преферанс и даже перестал играть на бегах. После службы он на крыльях летел домой!.. К своей ненаглядной Зиночке!.. Без малейших колебаний она оставила свой кордебалет, и отныне вся жизнь её была посвящена заботам о муже-красавце и об их будущем сыне. У неё обязательно будет сын!.. В этом они оба были уверены... Абсолютно!..

Она осторожно гладила свой пока ещё плоский живот, но уже разговаривала с ним: "Матвей... Матюша..." А он смотрел на неё и задыхался от переполнявшего всё его существо восторга.

Как они были счастливы!

И ни секунды не сомневались: так будет и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра... Всегда!..

Ах, если бы!..

Шестнадцатого ноября 38-го года Павла Петровича Троицкого "взяли" в Большом театре во втором антракте "Спящей красавицы". Он оставил жену в ложе бенуара, а сам вышел покурить и больше в зал не вернулся. В курительной комнате к нему подошли двое молодых в штатском. Один из них очень тихо, но отчётливо сказал: "Павел Петрович, очень советую: постарайтесь не шуметь. Не привлекайте к себе внимания. Честно говорю, лучше будет". А другой на вытянутых руках протянул Бог весть как попавшую к нему шинель Троицкого и даже помог одеться. Всё случилось так быстро и неожиданно, что Павел Петрович сразу не сообразил, что же, собственно, произошло?.. А когда, стиснутый с двух сторон бравыми чекистами, он шёл от Театральной площади вверх по Кузнецкому к Лубянке, его вовсе не волновал собственный арест. Он мучился от сознания того, как будет нервничать и переживать Зиночка, когда не дождётся мужа после антракта!.. Как она кинется искать его!.. Как не найдёт и станет горько плакать!.. А в её положении ей совсем нельзя волноваться!.. К тому же номерок от её шубки лежал у него в нагрудном кармане кителя! Его так и подмывало попросить, умолить своих провожатых, мёртвой хваткой вцепившихся в его предплечья, чтобы те разрешили ему быстренько сбегать обратно в театр и передать номерок жене. Ведь не может она вернуться

домой в легком вечернем платье, когда лужи на тротуаре уже замерзли и сыплет лёгкий снежок. Он готов был поклясться чем угодно, что непременно вернётся к ним и послушно пойдёт в тюрьму. Но Павел Петрович прекрасно понимал, какая это дурость, и покорно шёл по улице мимо сияющих витрин, среди весёлых, ничего не подозревающих людей. Успокаивало, вернее удивляло, одно: необычность его ареста. Два или три раза ему доводилось видеть, как "брали" его сослуживцев: тех всегда увозили от Генштаба на чёрных "эмках". Почему же за ним не прислали машину и они идут пешком? "Вероятно, потому, что от Большого до Лубянки рукой подать... А может, просто на беседу вызывают. Допросят и отпустят с миром", – пытался успокоить себя Павел Петрович, но, честно говоря, ему это не удалось... Как-то не успокаивалось.

И в самом деле, беседа со следователем НКВД "затянулась" далеко за полночь, и, как Зиночке удалось получить в гардеробе свою шубку, Павел Троицкий не знал до сих пор.

Где она теперь? Жива ли?.. Что случилось с ней и их сыном?.. Ничего он не знал, абсолютно ничего, потому что с того ноябрьского вечера 38-го года исчез из нормальной человеческой жизни... Исчез на целых девятнадцать лет. Сначала Лубянка, потом тюрьма и, наконец, этот лагерь...

И вот теперь ему предстояло вернуться.

Когда он узнал, что реабилитирован, первая мысль, какая пришла в голову: "А куда же я денусь? Где стану жить?.." "На воле" у него не было ни дома, ни семьи. Что случилось за эти годы с друзьями, он не знал, что же тогда говорить о знакомых... Все связи с тем, другим, не лагерным, миром были оборваны. И получалось, что, подарив ему свободу, его безжалостно обрекли. За воротами лагеря его ожидало не безоблачное счастье, а глухое тоскливое одиночество. Он должен был начать всё заново... Начать с нуля в пятьдесят четыре года?.. Интересно, конечно, но как?!.. Как?!..

Да, не очень весёлым обещало стать его возвращение.

Единственной зацепкой, тоненькой ниточкой, которая могла привести его в ту прежнюю, казалось, навсегда утраченную жизнь была фотография в "Красной звезде". Но какой тоненькой была эта ниточка!.. В любой миг могла оборваться.

Сколько лет прошло!..

Жива ли мать? А если жива, то простила ли?.. А если простила, сможет ли принять своего блудного сына?.. Где жена Зинаида?.. Смогла ли родить и выходить сына?.. И как быть с братом, с Петром?.. Судя по орденской планке, что красовалась у него на груди, дела его шли совсем не плохо. Но захочет ли он иметь дело с бывшим эком, пусть даже реабилитированным? С братом, которого вся родня, наверняка, уже давно похоронила?..

Сколько вопросов! И ни на один вразумительного ответа найти он не мог.

К тому же фотография в газете была такого качества, что Павел вполне мог ошибиться. И, если он принял за брата совершенного постороннего человека, тоненькой ниточки, которая могла привести его к родным, не существовало вовсе.

Со всем этим Павел и пришёл в "Серафимов закут", всё батюшке выложил и замолк, низко опустив голову и уставившись в щербатые доски пола. Ждал.

– Знаешь, что скажу?.. – отец Серафим почесал подбородок. В трудные минуты он всегда так делал. – Терпи. Ещё одно испытание посылает тебе Господь, не оставляет тебя Своим попечением.

– Ох, как я это попечение чувствую. Все девятнадцать лет...

– Не богохульствуй!.. Только тем, кто не безразличен Ему, такие негоразды пережить должно. Ты – избранник Его. Радуйся.

В ответ Павел только невесело усмехнулся и тяжело вздохнул:

– И рад бы, но как-то не очень, отче, у меня это получается – радоваться. Извини.

– Вот!.. То-то и оно!.. Вечно мы недовольны, не умеем за каждую малость Господа благодарить. Нам подавай всё сразу и полной мерой. Мы терпеть не приучены.

– Меня в отсутствии терпения упрекнуть сложно, отче. Последнее время только тем и занимаюсь, что терплю, – Павел даже слегка обиделся.

– Ну, вот... А сейчас гордыня в тебе разыгралась, – отец Серафим покачал головой. – Почему думаешь, будто ты лучше прочих?.. Смирись. И со смирением уповай на милость Божию. Он лучше нас с тобой знает, кому, сколько и когда воздать надобно. Не подгоняй Божий промысел. Всему свой черёд. Согласись?..

– Во всём готов с тобой согласиться, отче. Вот только легче мне от этого не становится.

– Можно? – в прорези занавески показалось рябое лицо Васьки Щипачёва.

– погоди, Василий, – поморщился отец Серафим. – Нам с Павлом Петровичем договорить надо.

– Я на минуту, – Щипач был сильно взволнован. – Не слышали ещё?.. Филимонов-то Степан... того... Удавился...

6

Письмо отца Серафима.

"Здравствуй, душа моя, возлюбленный во Христе брат мой Алексей!

Случилась оказия, и я могу дать знать о себе, чем не преминул тут же воспользоваться. Надеюсь, что ты пребываешь в добром здравии и житейские негоразды не слишком тебе докучают. Не знаю, выпустили тебя из тюрьмы или нет, потому отправляю письмо на адрес Егора, чтобы не навредить.

Я, слава Богу, жив-здоров, что в моём преклонном возрасте неоценимое благо, ниспосланное мне свыше. Надеюсь, достанет мне сил потерпеть ещё немного и, даст Бог, мы с тобой ещё в этой жизни повстречаемся. Сидеть мне всего год осталось.

Удивляюсь, какой большой срок на земле определил мне Господь, но такова, видно, воля Его. Не всё ещё совершил я в этой жизни, что мне предначертано было. Стало быть, надо нести свой крест и благодарить Всевышнего. Трудно нам, смертным, отыскать волю Божию. Раньше, когда был молод, я спрашивал отца и следовал его советам. Но, чем старше становишься, тем меньше идущих впереди, за которыми просто и легко следовать по доверию и вере к ним. Поэтому прежде всего в искании воли Божьей прибегаю к усиленной молитве: "Скажи мне, Господи, путь... Устрой сам о мне всё".

Да и грех мне жаловаться. Целый день я на свежем воздухе, а он, воздух этот, здесь знаменитый – к примеру, сейчас пахнет хвоей и прелым листом, и грудь дышит легко и свободно. Пища скромная, но здоровая, постная. Да и много ли мне, старику, надобно? Кусок хлеба да глоток чистой воды. Люди вокруг меня разные, но в большинстве своём несчастные и не злые. Особенно жаль мне тех, кто жизнь свою положил на то, чтобы братьев своих в неволе держать. Ведь стоит только ощутить свою власть над кем бы то ни было, как человек неизбежно теряет свободу. Свободу духа! – Ибо власть парализует человека, заставляет его служить ей, и, в конце концов, он делается её рабом, пытаясь угодить ей. А каков результат? Гибнет человек под гнётом этой власти. Тяжело быть рабом, но тяжелее во сто крат быть поработителем. В рабовладении нет ни капли любви. Наверное, поэтому именно здесь я так возненавидел всякую власть. А знаешь, что значит, ненавидеть? Не хотеть видеть. Вот я и стараюсь – не смотрю. Ну их совсем!..

Об одном тоскует душа моя – сколько лет не служил, а это для меня потеря очень большая. Но я молюсь неустанно и прошу об одном, чтобы вернул Господь меня на стезю служения. Уповаю на Его благосердие.

Возлюбленное чадо моё, Алёшка! Не хочется верить, что, подобно мне, ты пребываешь в местах скорбных, да и сердце подсказывает: сии негоразды тебя миновали. Посему обращаюсь к тебе с просьбой.

Среди многих сотоварищей моих есть один – Павел Петрович Троицкий – человек редкой горькой судьбы. Когда-то был сановником, генералом, от одного слова которого зависели жизни тысяч людей. Но пробил час, и всё шиворот-навыворот повернулось. Теперь это несчастнейший из несчастных, самый жалкий из всех обиженных. Страшно представить, но целых 18 лет провёл он в заключении. Сейчас его реабилитировали (какое тяжёлое, нечеловеческое слово, верно?), но радости особой он не выказывает. Может, потому что все эти годы был отрезан от мира и ничего не знает о судьбе своих родных, равно как и они не имеют о нём никаких известий. Болит у меня за него душа. Как бы не натворил глупостей. Если воля вдруг, нечаянно, на человека обрушивается, то и раздавить может. У нас в лагере один такой случай уже был.

Прошу тебя, любезный друже, помоги несчастному. Сам знаешь, в одиночку горе тяжело перемыкивать. Не ведаю, сумею ли, но хочу уговорить его: пусть немного поживёт у нас в Дальних Ключах, прежде чем пускаться во все тяжкие. Хотя бы до весны. За зиму душа у него

отогреется, сердце отгадет. Для него сейчас самое главное – покой обрести. Зная тебя, верю, ты, как никто другой, сумеешь помочь.

Я дам ему твой адрес, и ты не удивляйся, если вдруг нагрянет к тебе нечаянный гость. Главное, ты его не бойся. Он, тихий, потому как совсем потерянный.

Кстати, это его стараниями ты сейчас получил весточку от раба Божьего Серафима. Молюсь и помню.

Храни тебя Господь!.."

Алексей закончил читать и, потрясённый, поднял голову.

– Тут для меня батюшка тоже пару слов накатал, – Егор достал из кармана скомканный листок. – Ничего интересного. Абсолютно. Но, как всегда, не пей, Егор. "Не пей!.." Будто я для собственного удовольствия пью. Будто мне больше делать нечего!.. Я ведь от безпросветности судьбы своей и отсутствия всякой перспективы её, подлую, потребляю.

– Алёша, что ты? – от Ивана не ускользнуло, что Богомоллов был явно обескуражен.

– Павел Троицкий племянник мне, – выдохнул Алексей. – Сын Валентины... Сестры.

– Иди ты!.. – удивился Егор.

Иван всплеснул руками:

– Какой же он маленький, какой тесный, мир-то наш!..

– Но Павел погиб. Нет его на этом свете... Вот уже 17 лет нет!

– Откуда знаешь?

– Мне Валентина писала. Нет, невозможно... Чтобы воскрес?.. Нет!.. Никогда не поверю.

– Почему? – решил вмешаться Егор. – Макаровна сына своего Мишаньку два раза хоронила. Похорожки к ней по всей форме приходили. И что? Главное, он сам это во внимание не принял, и гляди, какой результат: мать бабкой сделал. Может, и племян твой...

– При чём здесь это?!.. – вскинулся Алексей.

– погоди, не горячись! – остановил его Иван. – На свете и не такие чудеса случаются. Давай разбираться. Рассказывай.

– Что рассказывать?

– Всё по-порядку. Давай, давай, мы этот ребус все вместе разгадаем. Верно, Егор?

– Об чём разговор? – тот был польщён, что и его не забыли. – В один момент. Ты не тужишься, Лексей. Повествуй.

– Валентина ещё тогда, в 38-м, под новый год написала мне, что Павел... что он... что его... В общем, пропал он...

– Как пропал? Где? Ты поподробней давай, – Егор всё больше и больше входил во вкус своей роли.

– Не мешай, – одёрнул его Иван.

По правде сказать, Алексей знал совсем немного. Да и то, что знал, было так... В общих чертах, пунктиром. Какие там подробности?..

Так случилось, что с сестрой он практически не общался. Аккуратно посылал ей поздравления по случаю дней рождения, именин и прочих гражданских праздников. В ответ получал такие же безликие открытки с пустыми, ничего не говорящими словами. Вот и всё. Развела их жизнь в разные стороны. И, честно говоря, не возникало никакого желания менять сложившиеся отношения. Они и в детские годы не очень дружили. Почему?.. Во-первых, мешала солидная разница в возрасте – 10 лет, а во-вторых, и в главных, уж очень разными были они по складу характеров, и мир понимали тоже по-разному. Маленького роста с плотно сжатым ртом, колючим выражением карих глаз и сдвинутыми к переносице тонкими бровями, Валентина являла собой полную противоположность большому, косолапому, добродушному брату. На его губах, казалось, навечно застыла лёгкая, чуть застенчивая улыбка. И эта улыбка бесила её. Она понять не могла, чему этот увалень вечно улыбается? Или смеётся над ней? Он знал, что раздражает сестру, старался реже попадаться ей на глаза, а, когда после окончания гимна-

зии уехал в Москву, то даже вздохнул с облегчением и решил выполнять свои братские обязанности с помощью поздравительных открыток. Только однажды, под новый, 39-й, год, он получил от сестры настоящее письмо. В конверте.

– Сейчас... Я сохранил его... Сейчас покажу, – Алексей открыл ящик комода и стал рыться в его недрах. – Помню, я ещё удивился тогда: не в наших правилах было писать друг другу длинные послания.

Он извлёк на свет картонную коробку, где лежала кучка стареньких фотографий и несколько писем – всё, что случайно сохранилось в занятой чужими людьми квартире в Москве.

– Вот оно!..

Письмо Валентины Ивановны Троицкой (в девичестве – Богомоловой).

"Здравствуй, Алексей!

Поздравляю тебя и всё твоё семейство с Новым годом. Желаю всем вам здоровья, удачи, благополучия и всего того, что вы сами себе пожелать хотите.

У нас с Петрушей жизнь идёт своим чередом, так что грех жаловаться. Живы-здоровы – уже хорошо.

Давно я не имею от тебя никаких известий, но, думаю, всё у тебя благополучно, потому, как только приходит беда, мы тут же первыми узнаём о ней. Видно, в характере человека заключена потребность такая: поделиться горем, рассказать о своих напастях. Вот и я решилась написать тебе о своей беде. Павла арестовали.

Не видела я его с того самого дня, как сбежал подлец из дому и, признаюсь, зла на него была страшно. Но, когда жена его Зинаида написала нам об его аресте, сердце моё дрогнуло. Какой-никакой, а всё-таки сын. К тому же Зинаида сообщила, что беременна. На втором месяце. Я её никогда не видела и не горела особым желанием познакомиться, но при таких обстоятельствах, сам понимаешь, оставаться равнодушной я не могла. Всё бросила и помчалась в Москву.

Ты знаешь, Павел до ареста был большим человеком, и друзей, как говорили, была у него целая куча. А тут – пустота. Все приятели как сквозь землю провалились. Один дружок остался – Николаша Москалёв. Ты их должен помнить: Москалёвы соседствовали с нами, через два дома жили. В 22-м Николаша тоже уехал в Москву учиться на художника. Сейчас на фабрике "Красный Октябрь" фантики для конфет рисует. Так вот Москалёв – единственный, кто меня приютил, не отвернулся. От него я и узнала кое-какие подробности.

После ареста Павла Зинаида приходила к нему, сообщила, что её выгнали из квартиры, два раза вызывали на допросы, но мужа она не видела: свиданий ей не дают, передачи не принимают. Где она сейчас, Николай не знал, адрес Зинаида ему не оставила. Поэтому повидаться с ней мне тоже не удалось.

Сколько кабинетов я обошла! В какие только двери не стучалась! Всё без толку. Сгинул мой Павел. Пропал. И я, грешным делом, решила, нет его на этом свете.

Словом, уехала из Москвы не солоно хлебавши. Вот так-то, братец мой дорогой.

Поделилась с тобой бедой своей, и на душе легче стало. Напиши и ты мне, довольно нам с тобой открытками друг от друга отмахиваться. Ведь мы родные как-никак, и делить нам с тобой нечего.

Ну, будь здоров и благополучен.

Обнимаю тебя, брат. Твоя сестра Валентина".

– Вот такое письмо получил, – Алексей был взволнован, в глазах его стояли слёзы. Прочитанное письмо тронуло в душе такие струны, прикосаться к которым ему не хотелось. Мутной тяжёлой волной нахлынули воспоминания.

– И что? – хитро прищурившись, спросил Иван. – Где тут сказано, что Павел погиб?

– Действительно, – поддакнул Егор.

– Как это "что"?!.. С тех пор почти 20 лет прошло, и за все годы о нём ни слуху ни духу. Был бы жив, смог бы как-то дать знать о себе.

– Как?

– Ну, не знаю... Сумел же отец Серафим...

– У Серафимушки оказия случилась, а у Павла могло и не быть. Ох-о-хо!.. Милый мой человек, чтобы судить, что смог бы, а чего не смог бы племяш твой, самому надо через это пройти. Я-то знаю.

Алексей удивился.

– Будто?..

– Чему дивишься?.. Вот на этом самом горбу 8 лет лагерей вытащил.

– Ну надо же!.. – уважительно протянул Егор. – А по наружности не скажешь.

– А я не стал на лбу у себя автобиографию писать. Но... После об этом! Что с Зинаидой?

Какие об ней известия? Жива или тоже пропала?

– Жива, слава Богу! И ребёнка родила, сына. Матвеем зовут. Парень уже совсем взрослый. 18 лет. Я подробностей не знаю, но Валентина их к себе в дом взяла. С ними теперь всё хорошо.

– Вот и ладно. Дай Бог им всем здоровья да радости!

Скрипнула входная дверь.

– Алексей Иванович, можно к вам?

– Заходите, Иосиф Соломонович.

В горницу вошёл мужичок невысокого роста, с полным отсутствием волос на голове и маленькими кривыми ногами. Если бы не его имя и не большой, чуть загнутый книзу нос, трудно было бы предположить, что перед вами еврей.

– Я, конечно, извиняюсь... Может, и помешал, но вы, Алексей Иванович, свою церковь закрыть забыли?

– Как это "забыл"?!..

– Этого я не знаю. Но сейчас мимо шёл, а дверь, знаете, так чуточку, конечно, но всё-таки приотворена... А внутри движение происходит... Сначала я решил...

Не дослушав Иосифа, Алексей в чём был бросился вон из избы. Остальные – за ним.

7

Степана Филимонова уже вынули из петли, и он лежал навзничь на топчане, резко закинув назад голову и вытянув вдоль туловища худые костлявые руки, отчего казался длиннее, чем был на самом деле. На лице старого большевика застыла скорбная полуулыбка, которая будто говорила всем: "Братцы! Как же мне теперь хорошо!.."

– Во придурок!.. Его на волю выпускают, а он... – за спиной Павла кто-то из блатных длинно и смачно выругался.

– Заткнись "Фитиль"! – Васька Щипач зябко передёрнул плечами и неожиданно даже для себя самого неловко перекрестился. – Человек помер. Уважение иметь надо, а ты... – его по привычке тоже потянуло пустить матерком, но Щипач сдержался и философски добавил: – Отмаялся бедняга... Полная воля ему на этом свете вышла... А на том... Кто знает, что нас там ожидает...

– Для вас, гражданин Щипач, нары там уже приготовлены, – коротко хохотнул Фитиль. – В райской зоне отдыха строгого режима.

Столпившиеся вокруг тела несчастного Степана Филимонова зэки радостно загоготали.

– Ты чего это?!.. А вы? Туда же!.. – Василий был вне себя от бешенства. – Побойтесь Бога!..

– Кого?!..

Новый взрыв хохота сотряс стены барака.

– Братва! Вы слышали?!..

– Уморил!..

– Где ты его видел, Бога-то?..

– Ой!.. Боюсь, боюсь, боюсь!..

– Напугал!..

– Слыхали?!.. Щипач блаженным заделался.

– Ну, ты даёшь!..

– Точно!.. Василий Блаженный!..

– Да не "блаженный", а "блажной"!..

– Васенька, ты уж там за нас заступись!..

– Родимый, райские нары займи по знакомству!..

Казалось, барак рухнет от гогота десятка людей.

Только Степан Филимонов лежал навзничь на топчане и молчал. Ему было не до смеха.

Василий растерялся.

– Я же в смысле... Не по-людски это, братцы!.. Совсем ошалели!.. Нехорошо!.. Ведь покойник... Эх, вы!..

И, как бы ища поддержки, обратился к отцу Серафиму.

– Батя, скажи им.

Все обернулись к стоящему в стороне священнику.

– Да уж, – не унимался Фитиль, – просвети нас, тёмных, святой отец.

– Не юродствуй, – Серафим с грустью смотрел на веселящихся зэков.

– Ты чё?.. Я серьёзно, в натуре... Ша, братва!.. Батя нам щас глаза открывать будет.

Хохот понемногу стих.

– Скажи, Бог есть?..

– Есть, – просто и коротко ответил отец Серафим.

– Докажи.

– Коли веришь, зачем тебе доказательства? А не веришь, никто тебя убедить не сможет.

– Ну, хитёр! – Фитиль радостно сверкнул золотой фиксой. – Чистый адвокат: врёт, как пишет.

– Я верую. Для меня Бог – суть всего живущего на земле и жизнь в будущем веке... Ты не веришь, и тебе уготованы мрак и пустота. И здесь, и за гробом.

Батюшка говорил просто, не повышая голоса. Говорил беззлобно, сострадавая и жалея несчастного.

Наступила мёртвая тишина. Воры, убийцы, насильники вдруг примолкли.

– Ты это... Я пуганый-перепуганный... – Фитиль начинал злиться. – Чёй-то, я смотрю, Бог и с тобой неласково обошёлся. Мы, сдаётся мне, на одной параше сидим, и пайка у нас с тобой одна. Ты тут не очень-то!..

Отец Серафим улыбнулся:

– Ты спросил, я ответил. А коли тебе мой ответ не понравился, не обезсудь. Другого не будет.

– Что, Фитиль?.. Прижали тебя? – Василий дрожал от удовольствия.

– Меня хрен прижмёшь. Трепаться я тоже мастак... Нет, ты мне докажи!.. Не можешь, так и скажи.

– Ничего я тебе доказывать не буду, только задам очень простой вопрос: откуда курица появляется?

– Как "откуда"?.. – Фитиль сразу нутром почувствовал подвох. – Из яйца... Всем известно.

– А самая первая курица на свете тоже из яйца появилась?

– Не понял... А откуда ещё?..

– И кто же это самое первое яйцо снёс? – полюбопытствовал отец Серафим.

Зэки, потрясённые его логикой, охнули и замерли: ждали, что ответит Фитиль. В наступившей тишине слышно было их тяжёлое хриплое дыхание.

– Ну, это... – Фитиль был потрясён не меньше остальных, но сразу признать своё поражение не хотел, а потому озлился. – Кто снёс, кто снёс?.. Откуда я знаю?.. Дядя Коля шмаровоз – вот кто!.. Чего пристал?!..

– Ну-у-у!.. – разочарованно прогудела публика. Симпатии её явно переметнулись на сторону отца Серафима.

– Ты не огорчайся, – тот почесал подбородок и ласково улыбнулся своему оппоненту. – Над этим вопросом многие учёные мужи веками бились. Так что не переживай, ты не одинок, они тоже ответа не знают.

– Батя!.. Но ведь ты знаешь... Ведь знаешь, скажи!..

– Знаю.

– Ответь!.. Не томи! – Василий предвкушал полную и окончательную победу.

– Не было никакого яйца.

– Как не было?!

– Очень просто. Это первая курица снесла первое яйцо.

– А она сама откуда вылупилась?

– Ниоткуда. Её Господь сотворил.

– Поняли, придурки?! – торжествовал Щипач. – Не было вовсе яйца!.. Не было!.. Господь сотворил!.. Ну, батя!.. Ну, молоток!.. Вот оно – доказательство!.. – торжествовал Щипач. Но вдруг осёкся и испуганный обернулся к отцу Серафиму.

– Отец, слышал я, будто на том свете самоубивцев не принимают! Даже таких, как я, пускают, а этим... – он кивнул на Степана, – ворота закрыты наглухо. Скажи, брехня или как?

Серафим удивился.

– А ты, Василий, с чего это забеспокоился?

– Не, ты токо не думай!.. Я же не... того... Степана, бедолагу, жалко. Что он в этой жизни, кроме Ленина, видел?.. Нужду да колючку. А закончил и вовсе в петле, – он сжал кулаки. – Вот ведь как!.. Понять не могу, для чего мы на свет рождаться должны?.. Неужто для горя только?!.. Да это же... Несправедливость одна!..

Ему так хотелось выругаться!.. Но бедняга невероятным усилием воли вынуждал себя плотать матерные слова, морщился, страдал нестерпимо и, в конце-концов, онемел.

Отец Серафим прошептал про себя короткую молитву, широко перекрестил покойного Филимонова и вместе с Павлом вышел из барака.

На тёмном, почти чёрном небе яркими точками горели звёзды, а над изломанным краем тайги белым холодным шаром вставала полная луна.

– Гляди-ка, распогодилось, – батюшка полной грудью вдохнул колючий морозный воздух. – Благодать!.. А через пару дней снег повалит, и придёт к нам долгая длинная зима.

Павел вздохнул.

– Без меня зимовать будете.

– Когда уезжать собрался?

– Как только все документы оформлю. А у нас, чтобы все нужные бумажки собрать, немалый срок нужен. Но, думаю, недели полторы хватит.

– И куда?

– В Москву. Пенсию оформить, с жильём определиться, а главное: Зинаиду надо отыскать. Не знаю как, но попробую... Может быть, всё-таки не ошибся я, и в "Звёздочке" Пётр на фотографии запечатлён. Если так, есть шанс. Может быть, он о судьбе Зинаиды что-нибудь знает. Если же нет, через Лубянку выяснить попытаюсь. Раз мне генеральское звание вернули, могу я, в конце концов, ответа у них потребовать, где моя жена. Последний раз я её во время очной ставки видел. Месяца через три после ареста...

И, сам того не желая, он вдруг увидел её перед собой. Маленькую, хрупкую, такую безпомощную... Увидел так ясно, так отчётливо, что казалось, протяни руку и можешь коснуться её лица. И забытый запах "Красного мака", её любимых духов, тревожно защекотал ноздри. И воспоминания навалились на него всей своей неизбывной тяжестью.

Следователь Тимофей Семивёрстов – высокий добродушный увалень с колючим бобрим рыжих волос на голове – усадил Зиночку напротив Павла, а сам устроился между ними, присев на краешек письменного стола.

– Зинаида Николаевна, я хочу вам пожаловаться на вашего мужа. Он у вас такой непослушный! Честное слово. Совсем не хочет нам помогать. Молчит, не хочет с нами совершенно разговаривать. А ведь, кажется, интеллигентный человек!.. Нам так немного от него нужно. Уговорите его подписать протокол. Какую-нибудь закорючку вот здесь поставить. Всего-то!..

Зиночка не плакала, но была так напугана, что никак не могла унять нервной дрожи. Её бил озноб, она кивала головой и, не отрывая глаз от сидящего напротив Павла, только повторяла.

– Да, да, конечно... Я понимаю... Я всё понимаю...

– А если понимаете, то скажите ему, кисонька моя, – излучая необычайную доброту и участие, Семивёрстов протянул ей лист протокола. – Взрослый человек, а ведёт себя хуже маленького. Нам такое упрямство надоест может. А мне бы так не хотелось делать вам больно. Но если он и дальше артачиться будет, то, увы! – придётся и к вам применить... Понимаете, о чём я?

– Понимаю... Я всё понимаю...

Пытка эта продолжалась долго, часа полтора, и кончилась тем, что Зиночка не выдержала и потеряла сознание. Семивёрстов в сердцах сплюнул, грязно выругался, окатил её водой из графина, несколько раз ударил по щекам и велел конвойному: "Убери эту сучку с глаз моих!"

Когда Зиночку вывели, Семивёрстов улыбнулся во весь свой губастый рот и спросил: "Думаешь, кралечка твоя домой пошла?.. Как бы не так!.. Её сейчас на казённой машине в Бутырку везут. А завтра с утра мы её в работу запустим. Догадываешься, что сие означает?.. Эх, ты, дуралей!.." – и заржал, довольно потирая руки.

Павел молчал, глотая подступавшие к горлу слёзы. Отвернулся и опустил голову, чтобы отец Серафим не увидел, что творится у него на душе. Глупец!.. Как он был самонадеян! Решил про себя, ничто уже не сможет выбить его из колеи и сердце окончательно окаменело, и вот сейчас... Ну, надо же!..

– Нет, нет!.. Это было бы слишком!.. Жива она!.. Жива!..

– Дай-то Бог!..

– И сына мне родила.

– А если дочь?

– Нет!.. Сына!.. Мы его Матвеем назвать хотели.

– Ты, Павел, не смущайся: хочется плакать, плачь. Слезами душа умывается.

– Отвык я нюни распускать.

– А вот это зря.

– И сейчас не стану. Не ко времени. Мне нужно все силы в кулак собрать, иначе сломаюсь!.. Да что я за баба такая?!.. – в бессильной злобе Павел заскрежетал зубами.

Они медленно брели по лагерной улице. Было тихо, и только Шакал, задрав морду к луне, протяжно выл: оплакивал несчастного Степана.

– Напрасно ты так, – отец Серафим покачал головой. – Не отравляй сердце злобой. Злоба, она, душу опустошает. А на пустыре, сам знаешь, один бурьян растёт... Так что, Павел, пере-силь себя и прости... Сразу увидишь, как светло на душе станет, как просторно.

– Не могу.

– Подумай, друже, а ему какво?.. Легко?.. Да он больше твоего пострадал. Побой плетью можно вынести, а какво угрызения совести?!..

– А ты уверен, отче, что у таких, как этот Семивёрстов, совесть есть?

– Она у каждого из нас непременно имеется. Только у некоторых дремлет до поры, до времени. Но наступит час, и проснётся она, беспощадная, и вот тут даже самый последний злодей страдать начинает. И с Тимофеем твоим то же самое будет.

– Да все его страдания одной Зиночкиной слезинки не стоят!.. Одного её вздоха!.. – взорвался Павел. – А в угрызения совести наших славных чекистов что-то не очень верится...

– Оставь ты его в покое!.. Тебе с ним детей не крестить. Забудь!..

Павел согласно кивнул головой.

– Я просто тебе пожаловаться захотел. Больше некому.

– Вот и ладно, душа моя. Пожалился, а теперь угомонись. И не спеш. Прежде чем приговор вынести, хорошенько подумай, все страсти свои утиши. Только трезвым умом и холодным сердцем можно ошибок избежать. Горьких и непоправимых, – старик достал из кармана ватника незапечатанный конверт. – Я с тобой ещё одну весточку хочу домой отправить. Поезжай-ка ты в Дальние Ключи. Старостой у меня чудесный человек служит – Богомоллов Алексей Иванович. Надеюсь, жив и пребывает в добром здравии. Он тебя примет, согреет... – и вдруг осёкся. – Что с тобой, друже?

Павел был потрясён.

– Как ты сказал, отче?.. Богомоллов?..

– Алексей Иванович... Неужто знакомый тебе?

– Дядя он мне... Родной брат матери.

– Неисповедимы пути Господни!.. – батюшка был поражён не менее Павла. – Как тесен мир Божий! – он засмеялся. – Голуба моя, недаром Господь свёл нас с тобой. Ох, недаром!.. Это перст Божий!..

Он перекрестил Павла, возложил ему руку на голову и тихо произнёс.

– "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Укроти волны страстей, на нас восстающих, умягчи сердца наши, дай силы душевные все негоразды житейские со смирением и благодарностью перенести..." Ну что?.. Поедешь к Алексею?..

– Поеду.

– Дай слово.

– Сказал же... Но сначала в Москву.

8

Алексей выскочил из избы и через задний двор, огородами, а потом напрямки, через Заячий луг, побежал к храму.

"Ах, ты пакостник!.. Залез-таки!.. Ну, погоди у меня!.. Что я с тобой сделаю, не знаю!.. Но помнить ты меня будешь вечно!.. Только бы успеть!.." – сердце Алексея бешенно колотилось. Иван еле поспевал за ним.

Дверь в Храм действительно была приоткрыта, а в старинном замке с секретом торчал новенький ключ.

Дрожащими руками он взялся за дверную ручку, потянул её на себя и осторожно заглянул внутрь. Никого.

– Тсс! – Алексей приложил палец к губам, чтобы Иван случайно не выдал их присутствия.

Стараясь не шуметь, они вошли в храм. Прислушались. Ни звука. Но кто-то здесь был.

И вдруг в звенящей тишине раздался странный звук: словно выдернули пробку из бутылки. Мужики переглянулись. Звук повторился.

То, что они увидели, когда заглянули в правый придел, заставило их замереть на месте и онеметь.

Молоденький парнишка стоял перед образом Богоматери "Умиление" и, набрав в рот как можно больше слюны, плевал в икону, стараясь точно попасть в святой лик.

– Никитка, ты что делаешь?.. – тихо выдохнул из себя потрясённый Алексей.

Парень вздрогнул, съёжился, как от удара, и затравленно обернулся на голос.

– Я?.. Ничего не делаю... – еле слышно прошелестел он.

– Как это ничего?!..

– А так!.. Ничего!..

– Но я же видел...

– Что ты видел?

– Ты... Ты плевался!..

– Я?!..

– И в кого?!..

– Докажи!.. Попробуй!.. – Никитка по обыкновению наглецов сам решил перейти в атаку.

– Ты в Божью Матерь плевал!..

– А может, тебе померещилось?.. А?.. Что тогда?

– Я собственными глазами видел!..

– Мало ли чего!..

– Ты понимаешь, что ты наделал?!.. Ты вообще... хоть что-нибудь понимаешь?!..

– А если и так!.. Что с того?.. Ну, плюнул пару раз. Подумаешь, горе какое!..

– Так ведь это же!.. – Алексей задохнулся от гнева. – Ведь Она... Она – Мать!.. И не только Сыну своему, но и тебе тоже, гадёныш!.. Всем нам!..

– Ты... того... Не очень-то!.. Ругаться я тоже могу...

– Ведь это... всё одно, как если бы ты... в мать родную плюнул!..

– Ты мою мать не трожь! – Никитка наглед на глазах. – Со своей матерью я как-нибудь сам разберусь.

Алексей схватился за грудь. Ему казалось, ещё немного и сердце разорвётся в клочья. Его душил гнев.

Перед ним стоял коротенький, шупленький человечек. Казалось, прихлопни одной рукой, мокрого места не останется. Но куда там! Человечек гаденько улыбался, открывая щербатый рот, сквозь узенькие щёлочки глубоко запавших глаз сочилась наглая злоба, а круглая

прыщавая физиономия, казалось, вот-вот лопнет от тупого самодовольства!.. Попробуй только – тронь!..

Алексей чувствовал полное бессилие, абсолютную беспомощность, и от этого на душе стало омерзительно тошно. Он тяжело опустился на скамью, пошарил по карманам, нашёл "валидол" и положил таблетку под язык.

Иван решил, что пора вмешаться:

– Это и есть тот самый вожак, у которого совесть не дремлет?

Алексей кивнул.

– Послушай, мил человек, то, что ты мелкий пакостник, издалека видно. Но объясни ты мне, дураку, для чего тебе именно эта гнусность понадобилась? В чём смысл-то?.. У каждого шкодника своя логика есть, у тебя тоже должна быть. Ведь должна?

Никитка насторожился. Присутствие постороннего человека его слегка озадачило.

– А тебе зачем знать?

– Любопытно, милоч.

– На базаре любопытной Варваре что намерен мужики оторвали? Знаешь?

– Так то на базаре, а мы с тобой в Божьем храме. Всё-таки разница. И меня, между прочим, Иваном зовут, а тебя, слышал я, Никиткой кличут?.. Будем знакомы.

Никитка плотно сжал губы, колотые нахмурил редкие бровки и спрятал руки за спину.

– Не скажешь? – ласково поинтересовался Иван.

– Очень нужно.

– Тебе, может, и не очень, а у нас в том крайняя надобность. Понимаешь, мы должны точно знать, за что тебя пороть будем. Верно, Алексей Иванович?

– Не понял, – Никитка задёргался, маленькие чёрные глазёнки его забегали, и на всякий случай он попятился к выходу.

– Всякому безобразию должно быть своё приличие, – улыбнулся Иван. – Скидавай портки.

– Чего?!.. – Никитка распахнул рот и от удивления забыл закрыть.

– Штаны сымай, я тебя пороть буду, – спокойно ответил Иван, вытягивая из брюк широкий солдатский ремень. – Алексей Иванович, нам с Никитой лавка понадобится, так что будь другом, освободи.

– Ну, ты того... Соображаешь?.. Вы не очень-то... чтобы это... в общем... Ну, совсем!.. – язык у парня заплёлся окончательно, ноги ослабели, он дрожал как осиновый лист. Его убивала спокойная уверенность незнакомого человека.

– Поторапливайся, – Иван поставил скамейку напротив иконы "Умиление". – Нам с Алексеем Ивановичем ждать недосуг. У нас в дому самовар стынет.

Злоумышленник был неподвижен.

– Тебе что, помощь требуется?

Тут Никитка сорвался с места и что есть духу кинулся вон из церкви, но в самых дверях нос к носу столкнулся с Егором, который на своей деревянной ноге, наконец, доковылял до храма.

– Ты куда?!.. – инвалид схватил его за шиворот.

– Помогите!.. – тонко пропищал Никитка.

– Беспременно поможем, ты не сумлевайся, – Егор сразу разобрался в ситуации. – Лексей, что мне с поганцом делать? К тебе доставить? Или костылём под зад и на волю пустить?

– Веди его сюда, Егорушка, – голос у Ивана был ласковый, нежный.

– Отпусти... те... – ужасу Никитки не было предела. – Вы права такого не имеете!.. Не по закону это!.. Я жаловаться буду... в суд иску напишу... – лепетал Никитка, еле переставляя ватные ноги. – Где это видано, чтобы людей... в храме... постыдились бы... Нехристи!..

– Глянь-ка, и про храм, и про стыд вспомнил!.. Молодец!.. Явный прогресс у мальчика намечается... Ложись!..

– Иван, давай отпустим его, – Алексей совсем растерялся.

– Обязательно отпустим, только экзекуцию проведём.

– Неужто ты его на самом деле собираешься...

– Пороть?!.. А то как же?!.. Между прочим, очень полезная процедура. Меня папая, пока жив был, частенько розгами оглаживал. Может, потому я человеческий облик не до конца потерял, что науку эту на всю жизнь запомнил. Тебе сколько лет?

– Семнадцать... с половиной.

– И что, милок, батя тебя частенько драл?

– Нет у него бати, в 43-м погиб, – вступился за Никитку Егор. – Безотцовщина.

– Сирота я, – жалобно проскулил тот.

– Вот беда-то какая!.. Ну, ничего, ты, Никита, особо не переживай, мы сейчас этот пробел в твоей биографии заполним. Егорушка, помоги ему портки снять, а то он, похоже, забыл, как это делается.

– Дяденька!.. Миленкий!.. Я не буду больше!.. – лепетал Никитка, судорожно стягивая штаны. – Честное комсомольское, не буду!..

– Верю. Но... – Иван развёл руками. – Извини, друг, без порки никак не обойтись. Давай, дружище!.. Ты не стесняйся, устраивайся поудобней, и приступим.

Он взглянул на светлый лик Богоматери, перекрестился и тихо произнёс.

– Мать Божия, Царица Небесная, буди нам, во грехах утопающим, скорая помощница и заступница. Уврачуй душевные и телесные раны раба Божьего Никиты, моими руками нанесенные. Помоги нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающихся, уврачуй и спаси безнадежных.

В гулкой пустоте храма весело разлетались звонкие шлепки солдатского ремня и скорбные всхлипы жоака сельского комсомола Никиты Новикова.

– Что тут у вас?!.. – председатель колхоза Герасим Тимофеевич Седых вихрем ворвался в церковь. За ним семенил на своих коротких ножках Иосиф Бланк. – Какой такой воруа в храм наш посмел забраться?!..

Председатель был полон отчаянной решимости немедленно поймать и наказать разбойника, но, увидев картину, что открылась перед его изумлённым взором, замер на месте, потом охнул и загремел густым басом, согнувшись пополам от хохота:

– Никитка!.. Родной!.. За что же тебя эдак-то?!.. Гляди, попка совсем красная стала!.. Ой, не могу!.. Свершилось!..

– Довольно, Иван. Хватит, – Алексею было и смешно и неловко, и жаль несчастного.

– Ты прав, для первого раза достаточно, – Иван начал заправлять ремень в брюки. – Для начала мы с ним наглядную политинформацию провели. В другой раз, хочется верить, прежде чем пакостить, он меня вспомнит и крепко подумает: а стоит ли?

Размазывая обильно текущие по лицу слёзы, охая и стеная, Никитка поднялся с лавки. Ему было стыдно, горько, обидно:

– Гады вы все!.. Гады!..

– Ты ругаться?!.. Да ещё в храме!.. – Иван схватил Никитку за ухо. – Проси прощения!..

– Не буду!..

– Никитка, не зли меня, – рука Ивана сильнее сдавило Никиткино ухо.

– Ой! Больно же!..

– Повторяй за мной: "Мать Божия, Царица Небесная..." Ну?!..

Комсомольский жоак рыдал, не стесняясь, с трудом выдавливая из себя:

– Мать Божия... Царица Небесная... Пустите меня!

Иван был непреклонен:

– Прости меня, подлеца... Я жду... Говори!
– Прости меня... Ой-ёй-ёй!.. ...подлеца...
– ...что оскорбил тебя...
– ...что оскорбил тебя...
– ...Дева Чистая и Непорочная!..
– ...Дева Чистая и Непорочная...
– И поклонись Ей. До земли поклонись, гадёныш, – он силой заставил Никитку стать на колени и трижды коснуться лбом каменного пола. – А теперь пошёл вон из храма!.. И не смей осквернять его!.. Никогда!

Не отпуская бедное ухо, Иван вывел шкодника на крыльцо. Остальные – за ними.

– Я вам этого так не оставлю!.. – безсилие и злоба переполняли Никитку. – Вы меня тоже крепко помнить будете!..

– погоди, – председатель положил свою огромную ладонь на вздрагивающее плечо парнишки и спросил: – Объясни толком, что случилось?

– Меня и в райкоме уважают... и в области тоже, – ширинка на его штанах никак не хотела застёгиваться. – А, если что, я и в Москву написать могу!..

– Сказал, не шуми! – Герасим Тимофеевич почти силой усадил парня рядом с собой на ступеньку крыльца, но тот тут же вскочил, осторожно потирая отбитое место одной рукой, а другой, схватившись за побагровевшее ухо...

– Чего вскочил? Сядь.

– Спасибо, я постою.

– Понимаю... – председатель сочувственно покачал головой.

Всхлипывая и утираясь рукавом, комсомольский вожак справился, наконец, с ширинкой.

– Ну, что ещё наш дорогой Никита Сергеевич натворил?.. Рассказывай.

– Герасим Тимофеевич, вы чего говорите?!.. Не соображаете, как вас тут всякие понять могут? – Никитка затравленно посмотрел на своего главного обидчика Ивана. Втайне он гордился тем, что носит то же имя и отчество, что и первый секретарь ЦК КПСС, но в данный момент обращение председателя к нему прозвучало слишком двусмысленно. Издевательски.

– Извини, коли что не так, – Герасим Тимофеевич понял, что оплошал. – Я хочу по существу разобраться. Понимаешь?

Оскорблённый парнишка закусил губу.

– Никитка, объясни, по-хорошему, зачем ты в икону плевал? – Алексею и самому хотелось понять парня.

– Плевал?!.. В икону?!.. Ну, это как-то того... я даже не знаю... – слова Алексея ошеломили председателя, и было странно видеть, как этот большой сильный человек вдруг растерялся, как маленький.

– А чего? – Никитка сразу уловил перемену в его настроении. – Я, чтоб вы знали, научный опыт проводил.

– Какой ещё такой опыт? – удивился Егор. – Производственный там... житейский... Это я понимаю, но чтобы Божественный... Впервой слышу.

Обида у парня не проходила, но, поняв, что больше ему ничего не угрожает, он осмелел.

– Для антирелигиозной пропаганды. Вроде пособия для несознательной молодёжи.

– А это уже что-то новенькое, – нахмурился Иван – Ну-ка, разъясни, нам, дуракам.

Никитка ещё более приободрился:

– Я только что, десять минут назад, доказал, что никакого Бога в нашей природе вовсе нет!..

– Во как! – Егор был потрясён.

Над крыльцом повисла тишина.

– Как же это тебе удалось?.. – осторожно спросил после паузы Алексей.

- Элементарно. Я плевал в Его Мать?.. Плевал. А Он что?..
- Что?.. – Егор ничего не понимал.
- Он стерпел!.. Понимаешь теперь?
- Нет, – честно признался Егор.
- Эх, ты!.. Да если бы Он, Бог то есть, и вправду был, Он бы в момент наказал бы меня.
- Любопытно. И как ты себе это наказание представляешь? – поинтересовался Иван.
- Ну, как?.. Я не знаю... Ну там... бабахнул бы молнией по башке... или землю под ногами... значит... разверзнул. Как обычно. А Он – ничего. То есть совсем!.. Даже не пошевелился... Стало быть, что?.. Да никакого Бога в нашей природе нет и быть не может.
- А ты... стало быть, не боялся, что Он тебя по башке шархнет? – Егор был потрясён.
- Не-а... – Никитка начинал чувствовать себя героем. – Я заранее знал результат.
- Во как! – Егор поднял вверх указательный палец.
- Да не захотелось Ему на такого паршивца, как ты, молнию зря тратить, – брезгливо поморщился Иван. – Для тебя пока одной порки довольно. Это ведь Господь вложил в мои руки этот ремень.
- А ремень не считается! – вскинулся Никитка.
- Это почему?
- Слишком небожественное наказание!.. Вот что!..
- Ещё как считается!.. Молись Богу, чтобы красной попкой для тебя все несчастья закончились.
- Герасим Тимофеевич тяжело и глубоко вздохнул.
- Эх!.. Я бы тебе ещё от себя добавил. Но радуйся, не могу, должность, будь она неладна, не позволяет, – и грохнул раскатистым басом. – А ну, брысь отсюда!.. Паршивец!..
- Повторять Никитке не нужно было. Он пулей полетел по тропинке от храма.
- Донос побежал строчить, – Егор мотнул головой. – Самое для него любимое занятие, – и невесело усмехнувшись добавил. – Попались мы, братцы. Ни за понюшку табака попались. Он таперича всех нас прищучит.
- На цугундер потащит, – скорбно добавил Иосиф, всё это время тихонько простоявший в сторонке.
- Не бойсь, – рассмеялся Иван. – Про то, что здесь сегодня случилось, никто, кроме нас, не узнает. Представь, комсомольский вожак и вдруг... поротый?.. Ты таких видел? Я – нет.
- Мужики дружно рассмеялись.
- Он, конечно, не Сократ, но такая слава даже самому отпетому дурню ни к чему.
- Что верно, то верно.
- И потом, я здесь человек посторонний, уйду завтра, и... ищи-свищи. Так что, братцы, всё на меня валите, коли что, – заключил Иван.
- Председатель усмехнулся.
- Ладно, пошёл я... Пора бы, кажется, привыкнуть, но никак не могу, всё удивляюсь: сколько гнили в себя один человек поместить может!.. Иосиф Соломонович, ты со мной?
- Вы, Герасим Тимофеевич, идите себе, а я догоню. Мне с Алексеем Ивановичем один вопрос решить очень необходимо.
- Что такое? Секрет?
- Вы не думайте, очень личный вопрос...
- Пойдём и мы, – Иван потуже затянул ремень и ободряюще подмигнул Алексею. – А храм теперь и запирать не нужно. Никитка сюда больше ни за что не сунется.
- И вся троица двинулась по тропинке: впереди, как главнокомандующий, размашисто шагал Герасим Седых, за ним Иван, а позади всех бойко ковылял на своей деревянной ноге Егор.
- Алексей достал из замка с секретом новенький ключ и сравнил со старым. Чистая работа!

– Моя просьба может показаться вам очень странной, даже безтактной, но... знаете, я очень серьёзно... честное слово, – Иосиф страшно волновался, оттого и глотал слова. – Нет, если нельзя, вы можете мне сразу отказать. И не церемоньтесь... Я знаю, вы в полном праве...

– Что тебе, Иосиф Соломонович? Ты не робей, – Алексей повернул новый ключ в замке, тот щёлкнул и закрылся. – И где он его достал?!..

– Я, Алексей Иванович, креститься хочу.

Алексей вздрогнул и обернулся к Иосифу. Тот испуганно, не отрываясь, смотрел на него.

– Можно?.. – так малыш просит у матери конфетку перед обедом.

"Ну, и денёк сегодня!.." – Алексею стало вдруг необыкновенно весело.

– Нет, нет, вы не смейтесь!.. Я, конечно, еврей... Но я сильно думал... Да, да... И много размышлял... И Евангелие читал... И молитвы... Честное слово!.. Мне бабка Анисья дала... И, знаете, я всё понял... Если бы тогда, давно, перед дворцом Понтия Пилата я бы тоже стоял в этой кошмарной толпе, я бы не стал кричать, чтобы... Его распяли!.. Правда, правда... Я бы, наверное, не смог защитить, потому что, знаете... я – подлый трус, но кричать бы не стал... Конечно, конечно, это тоже грех... и даже очень большой, но я буду молиться и... может быть, Он сжалятся... и простит... Он очень добрый... Он может... Вы же знаете, Алексей Иванович, я на свете один, совсем без никого... И я устал... Я очень-очень устал... А с Богом... Ведь мы тогда все вместе будем?.. Правда?.. Как дома... в семье... Я вас очень-очень прошу, если можно, конечно, то скажите, кому надо... И помогите, если вы сами можете... Ну, пожалуйста... Алексей Иванович!.. – он торопился, говорил сбивчиво, путаясь, заикаясь, и слёзы текли по его щекам.

– Да вы не волнуйтесь так, Иосиф Соломонович!.. Ну, что, в самом деле?.. Через неделю "Покров", из города батюшка приедет, вот тогда мы с вами и окрестимся. Согласны?..

– Спасибо!.. Спасибо, Алексей Иванович!.. – он крепко сжал руку Алексея. – Вы даже совсем не можете представить себе, что вы для меня сейчас сделали!..

И зарыдал в голос, не сдерживаясь и не стесняясь.

9

Мерно стучали колёса на стыках.

На столике у окна в такт перестуку колёс ложка билась о край гранёного стакана в металлическом подстаканнике, весело подпрыгивала и звенела... Из коридора в открытую дверь купе тянуло горьковатым запахом угля из вагонной топки. А за окном, запотевшим по углам, сквозь косые струйки нудного дождя проплывали нагие леса и перелески, усталые бурой опавшей листвой, ныряли куда-то вниз крутые овраги, проскакивали ручейки и речушки, тянулись заросшие камышом и осокой ржавые болотца, внезапно выпрыгивали из-за поворота сухие пригорки, покрытые рыжей пожухлой травой, а то, словно стыдясь своей нищеты, торопливо пробегали убогие деревеньки, одинокие хутора... Раскопанные пустые огороды, сплошь утыканые горками небранной ещё картофельной ботвы, наводили глухую тоску, и только луговые проплешины, с одиноко стоящими то тут, то там островерхими стожками заготовленного на зиму сена, оживляли безотрадную картину.

Павел Петрович лежал, уткнувшись подбородком в жёсткую волосяную подушку и не отрываясь смотрел в окно. Он сразу выбрал для себя верхнюю полку: за два дня пути, что предстояло провести ему в поезде, столько нужно передумать, столько проблем решить!.. А тут, наверно, никто его не потревожит, никто не сможет ему помешать.

Правда, время от времени с нижней полки раздавались утробные всхрапы-всхлипы соседа по купе – старшины-сверхсрочника, но к таким неудобствам человеческого общежития Павел Петрович привык за 8 лет лагерной жизни и теперь даже радовался, что рядом с ним есть живая душа.

Пожилой старшина был явно чем-то раздосадован и, как только поезд тронулся, тут же достал из кармана потёртой шинели завёрнутый в обрывок "Правды" солёный огурец и целенькую поллитровку, в какие-нибудь четверть часа ополовинил её и рухнул на полосатый матрас, скинув на пол обляпанные грязью сапоги.

И вот под аккомпанемент старшинского храпа Павел Петрович смотрел на унылый пейзаж, проплывавший за окном, и... улыбался, сам того не замечая.

Если бы кто-нибудь ещё неделю-полторы тому назад сказал ему, что по лицу его будет вот так безпричинно, по-идиотски блуждать бессмысленная улыбка, он бы только усмехнулся в ответ... Но сейчас...

"Что это со мной?.." – со страхом и недоумением он прислушивался к тому, что творилось у него в душе. Тихая радость сначала робко шевельнулась внутри, но потом осторожно, настойчиво стала заполнять всё его существо, заставляя чаще и сильнее биться неугомонное сердце. И стук колёс, и звяканье ложки в стакане, и запах дыма из коридора, и тоскливые картины за окном, и похмельный храп старшины на нижней полке – словом, всё, что окружало его в эту минуту, будило в душе тревожное ожидание и... Смешно сказать, но, что правда, то правда, – до боли знакомое с детства предчувствие...

"Господи!.. Какая глупость!.."

Впервые за долгие годы Павел Петрович ощутил, что он... счастлив. Только сейчас в поезде он понял это впервые. Как следует... Понял на самом деле... по-настоящему.

Свободен!..

Девятнадцать лет!.. Девятнадцать лет он ни на что не надеялся, ничего хорошего для себя не ждал, не верил, что такое возможно, и вот – свершилось!

В сентябре ему стукнуло пятьдесят четыре... А сколько осталось впереди?.. Пять?.. Десять?.. Пятнадцать?.. Много это или мало?.. Как и с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения сытого, довольного всем человека, может, и немного... Но для зэка с таким стажем, как у него, – целая вечность.

"Сколько ни отпустит мне Господь, прощай колючка! Прощай навсегда!"

В лагере его провожали двое: отец Серафим и Васька Щипач.

Идея прощального ужина принадлежала последнему, поэтому накануне Павел Петрович, испросив у начальника лагеря позволения устроить вечеринку с друзьями, поехал в город, дабы запастись продуктами и закатить своим поделщикам настоящий пир. Каково же было его удивление, когда, зайдя в магазин, на дверях которого красовалось такое дразнящее бывшего зэка название "Продукты", он обнаружил на его полках длинные ряды маленьких банок с камчатскими крабами и большие, трёхкилограммовые, с болгарским конфитюром "Айва". А на огромном чурбаке, где когда-то в доисторические времена рубили мясо, лежал разноцветный и тоже доисторический монолит карамели "Подушечка". Поскольку, судя по всему, мясом здесь не торговали со времён Ноя, устрашающего вида топор был воткнут в чурбак рядом с конфетным монолитом и, по-видимому, служил инструментом для откалывания нужного веса "Подушечек" по требованию покупателей. Больше в этом продуктовом раю из съестного он не заметил ничего.

Впрочем, вино-водочный раздел магазина, хотя и не отличался богатым разнообразием, всё же был, как говорится, "в ассортименте". Помимо водки двух сортов, тут наличествовал портвейн "Анапа", ядовито-зелёный ликёр "Бенедектин", наливки "Спотыкач" и "Сливянка", а также трёхзвёздочный дагестанский коньяк!.. По-видимому, для местных гурманов.

– Чем же вы тут питаетесь? – спросил ошеломлённый Павел Петрович и, кивнув на магазинные полки, добавил: – Неужели ваша любимая еда – крабы с вареньем?

– Дед, ты, случаем, не с Луны свалился? – перегидрольная продавщица, в мятом, замызганном халате, была поражена не меньше покупателя. – "Чем питаемся?.." Божьей росой с ливерной колбасой, вот чем!.. – и захохотала. Весь лоснящийся облик её, а в особенности пугающих размеров бюст и мощная арьергардная часть говорили о том, что голодать этой даме приходилось не очень часто.

– Да нет, я не с Луны... Я тут у вас... поблизости... на зоне время коротал... Простите...

Продавщица вмиг посерьёзнела, уважительно и со значением кивнула головой, пугливо покосилась на дверь и, перегнувшись через прилавок, вдруг жарко зашептала:

– Могу бычки в томате предложить. Николаевского рыбзавода, плавленые сырки "Дружба" и бульонные кубики. Желаете?.. – и глубокомысленно подмигнула, как сообщнику. – Меня, между прочим, Тамарой зовут. Будем знакомы.

Павел Петрович тоже представился, галантно пожал протянутую лодочкой руку с облупившимся красным лаком на ногтях и подумал, что Лермонтов, вероятно, не предполагал, давая это имя своей царице, что возможна такая деградация некоторых Тамар в нашей стране. Оглянувшись на дверь, он тоже зашептал трагическим шёпотом: Всё давайте!.. И бычки, и крабы, и конфитюр, и, конечно же, пять "Дружб"!.. Гулять, так гулять!.. – и тоже заговорщицки, со значением подмигнул.

– А кубики?.. Если поштучно – два сорок.

– В кубики пускай детишки играют, – сострил товарищ Троицкий, но продавщица остроты не поняла и очень серьёзно спросила. О самом главном.

– Из "горючего", что брать будем? – Тамара уже признала его "за своего".

– Меня просили портвейн купить...

– Понимаю...

– А для себя я, пожалуй, коньяк возьму.

– Понимаю, – видно было, что Тамара полностью одобряет его выбор.

И вот теперь отец Серафим и Василий Щипачёв сидели в номере лагерной гостиницы у Павла Петровича и пировали, наслаждаясь щедрыми дарами местного продторга и лично продавщицы Тамары.

– Дорогой Павел Петрович!.. – Василий встал, для порядка кашлянул и начал. – Позволь мне, человеку, так сказать, прощающему, сказать тебе несколько тёплых прощальных слов. Ты не смотри, что у меня всего пять классов и во рту одни фиксы стоят. Жизнь, Петрович, она получше любой десятилетки учит, и, если на меня с этой стороны посмотреть, я тоже академию закончил... С отличием. Сколько народу передо мной за мои тридцать шесть прошло!.. Сосчитать не берусь... И, знаешь, разные люди попадались: и стоящие, и, прямо скажу, шваль пропадающая. Всякие... Но ты у меня, Петрович, особняком стоишь, потому – человек!.. Как Максим Горький сказал?.. Человеку нужно звучать гордо. Вспоминаешь?.. То-то!.. И я тоже скажу: по моим понятиям, ты звучишь!.. Очень даже гордо... Гадом буду!.. Ведь согласишься на тебя и не скажешь сразу, что ты... – он высоко поднял вверх указательный палец. – Ого-го-го!.. Ну, какой ты генерал?.. Хочешь начистоту?.. Я тебе прямо скажу: это даже недоразумение какое-то, потому что из тебя мог бы и полковник получиться и даже вовсе рядовой... – Василий окончательно запутался, смутился, понял, что не туда забрёл, но тост не скомкал, а закончил, как полагается. – Предлагаю выпить тост за гордого человека!..

И уже собрался было залпом осушить гранёный стакан, но вовремя спохватился, вспомнил, что находится в приличном обществе и сдержал себя.

– Молодец, Василий! – отец Серафим одобрительно улыбнулся. – Не ведал, что ты у нас так хорошо воспитан.

– Да ладно, чего там?.. – Щипач был явно польщён. – Я, конечно, детдомовский, а там нас нюансам разным с реверансами не обучали, но что касается, когда надо уважение оказать... порядок мы не хуже других знаем, – и, окончательно засмутившись, густо покраснел.

За столом вор в законе показывал настоящий шик: оттопырив мизинец с длинным, отропленным по блатной моде ногтем, он интеллигентно, маленькими глотками отхлёбывал любимый напиток, специально купленный по его просьбе, одобрительно чмокал и, блаженно закатывая глаза, кивал головой: мол, только виноград урожая 1950 года мог придать портвейну "Анапа" такой замечательный ароматный букет. При этом Василий умудрялся ни на секунду не расставаться с зажжённой папироской в углу рта, которая каким-то чудесным, одному ему ведомым образом, намертво приклеилась к его нижней губе.

– Ну и накурил ты, Василий, – отец Серафим недовольно поморщился и взмахнул рукой, отгоняя от лица папиросный дым. – Дышать нечем.

– Прощения просим, – Щипач мгновенно выхватил изо рта папироску, коротко плюнул на её дымящийся кончик и аккуратно уложил погасший окурочок обратно в пачку. – Я и на крыльце посмолить могу, – и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.

– А ты, что не выпиваешь? – прищурившись, батюшка коротко взглянул на Павла.

– Не знаю, – смутился тот. – Отвык, видно... Вкуса не чувствую. Да, и скучно отчего-то...

– Ишь ты!.. А прежде интересно было?

– Прежде, отче, я, жизнь проматывал, не задумываясь и не жалея... Одним мгновением жил... взахлёб. Ни назад не оглядывался, ни вперёд не загадывал... Не думал тогда, что время для меня иной смысл обретёт... Да что вспоминать?!.. Было, прошло и... Кончено!.. Назад не воротить!.. Думаю, оно и к лучшему.

Отец Серафим взял со стола почти полную бутылку, разлил коньяк по стаканам.

– Верно, душа моя, к лучшему... Ежели и далее на Господа во всём полагаться будешь... Вот кажется порой: так плохо – хуже уже некуда!.. А ты не торопись, потерпи маленько, успокой душу, утиши страсти свои и выйдет на поверку – всё к лучшему... Сам замечал, небось?.. Разве не ты мне говорил, что в своём заточении такую радость испытал, о какой на воле и мечтать не смел?.. И впредь так же: вперёд не загадывай, Господь Сам твоей жизнью управит, Сам обо всём распорядится. Ты только не мешай Ему и не противься – всё одно, толку не будет.

Сколько раз за время их знакомства батюшка не уставал повторять Павлу эти слова, но сегодня в его интонации слышалась неподдельная тревога. Почему?..

Отец Серафим угадал, о чём думает Павел.

– Ты, небось, решил, совсем спятил старик: двадцать пять раз и всё об одном и том же?.. Нет, Павлушка, не спятил. Очень боюсь за тебя, как бы ты дров сгоряча не наломал. Кто знает, какой ты жену свою после такой долгой разлуки застанешь?.. Девятнадцать лет – срок немалый, всякое могло случиться. Вы ведь не венчаны? – спросил и тут же пожалел, что такой вопрос задал: вдруг Павел обидится.

– Куда там, отче?! Я ведь членом партии был! Сам знаешь, что бы со мной сделали, если бы я на такой шаг решился. Да мне и в голову не приходило!

– Вот, вот... И я о том же! – обрадовался отец Серафим. – Значит, вы супруги только перед людьми... Не перед Богом. Я тебя не осуждаю!.. Боже упаси!.. Вся страна наша в те поры по советским порядкам жила, а порядки эти на государственном уровне блуд узаконили. Чтобы легче грешить было. В прежние времена людям, венчанным в церкви, оставить жену или мужа непросто было: разрешение архиерея требовалось. А сейчас новый штамп в паспорт поставили, и вся недолга. Страх совершить грех пропал, а с ним и чувство долга куда-то улетучилось. У нас в Дальних Ключах хороший парень был – Дедов Степан. Летом сорок третьего повестка пришла: настал его черёд идти родину защищать, а у него любовь!.. Ксюша... Первая красавица на селе... Ну, так вот перед тем, как ему на фронт отправляться, обвенчал я их, и пошёл Степан воевать со спокойной душой. В сорок пятом с войны вернулся, а у него по дому годовалый пацанчик ползает. Макаром *кличут*. В сентябре после того, как отбыл Степан в действующую армию приезжал к нам в село из района какой-то уполномоченный. Определили его на постой в дом к Ксюше Дедовой. И вроде мужчина уже солидный, где-то под сорок было ему, и не красавец вовсе, но... Кто знает, чем он там Ксюшу улестил, только обрюхатил уполномоченный несчастную бабу и исчез в неизвестном направлении. Так вот вернулся домой Степан, увидел, какой подарок его ожидает, ни слова жене своей не сказал, а пошёл в сарай... За два года на фронте ни одной царапины, шесть медалей, орден "Славы" третьей степени, а вот поди ж ты! Не смог женину измену вынести – руки на себя наложил!..

Павел усмехнулся.

– Я с жизнью расставаться в любом случае не намерен. Так что напрасно боишься, отче. Я ведь жену хочу разыскать не потому только, что надеюсь нашу старую семейную жизнь заново начать. Знаю – невозможно... Виноват я перед ней, вот что!.. Страшно виноват!.. Ведь из-за меня ей, бедной, через Лубянку пришлось пройти. А мы-то с тобой знаем, что это такое!.. Словом... Ох, трудно мне всё тебе разъяснить, но такая тоска одолела!.. Поверь, мне бы только на одну крохотную секундочку увидеть её... Сына на руках подержать...

– С этим ты опоздал, друже, – засмеялся старик. – Парню восемнадцать лет уже, боюсь, не удержишь.

Но Павел не слушал его.

– Запах волос её услышать!.. Знаешь?.. Они так потрясающе пахли... Солнцем... А зимой – морозом... Нет, не могу объяснить...

Отец Серафим смутился:

– Я не к тому историю про Степана рассказал... Знаю, ты на глупость такую не способен. Но человек ты горячий... В случае чего... Ты только не спеши, Павел... Ты терпи. Чтобы не случилось с тобой, помни: Иисус много больше нашего претерпел. Нам с Него пример брать следует!..

– Договорились, отче, – улыбнулся Павел. – Всё претерплю и не охну. Честное благородное!.. Бог терпел и нам велел... Кажется, так говорится?

Старик кивнул.

– Вот за это я и выпью! – Павел поднял стакан. – Сколько раз ты мне повторял: "Смирение – высшая добродетель!" Поверь, я ученик послушный.

– И я с тобой!.. – отец Серафим выпил, крикнул и, закусывая сырком "Дружба", сказал: – И помни... Всегда помни, что бы с тобой ни стряслось, испытания Господь только избранным своим посылает. И, чем суровее испытания, тем больше Его любовь к тебе, а потому – радуйся!.. "Блажени плачущий, яко тии утешатся".

– "Блажени милостивии, яко тии помиловани будут!"

Отец Серафим обнял Павла, расцеловал.

– Я тут для тебя ещё одно письмишко приготовил. Дяде твоему Алексею Ивановичу. Отправь с воли, сделай милость. Там и про тебя кое-что писано, можешь прочесть. И не бойся, человек он надёжный. Мой человек. Ты ему, как и мне, довериться можешь, – отец Серафим достал из кармана ватника исписанные листки бумаги, протянул Павлу. – Напишешь ему?..

– Напишу.

– Вы с ним непременно должны свидеться. Он, как и ты, немало в этой жизни испытал. Вы друг дружку с полуслова поймёте.

Когда через минуту Василий Щипачёв заглянул в комнату, отец Серафим и Павел Петрович всё так же сидели за столом. Павел Петрович негромко говорил, батюшка изредка вставлял словечко и кивал головой. Со стороны могло показаться, будто он исповедует своего товарища по несчастью.

Василий тяжело вздохнул: уж больно хотелось выпить, и бутылка с "Анапой" – вон она, сиротинушка, одна-одинёшенька посреди стола стоит... Но помешать такому важному разговору он не посмел и, помедлив самую малость, всё-таки пересилил себя и безшумно прикрыл дверь. Деликатности ему было не занимать.

– К Стукову подъезжаем!.. Стоянка две минуты! Стуков о! Две минуты стоим!

Звонкий голос проводницы разбудил старшину-сверхсрочника. Тот резко вскинулся на своём матрасе, широкими ладонями стёр с лица заспанные очумелые глаза, крикнул и, торопливо натягивая сапоги, негромко пустил матерком. Потом, ни к кому не обращаясь, хрипло приказал себе: "Жратвы достать!.." – и громко затопал кирзой по коридору.

Рельсы на стрелках за окном стали множиться и разъезжаться в стороны. Потом потянулись пакгаузы, за ними горы угля и щебня, штабеля просмолённых шпал, медленно проплыл привокзальный туалет с напрочь сорванными с петель дверями и, наконец, показался приземистый кирпичный вокзал, на обшарпанном фронте которого красовалась гордая надпись "С...уково"!..

Как много значит одна буква в слове! Павел невесело усмехнулся: убери её, и вместо "стука", получишь "сук". А бывает, и того хлеще. Так и в прожитой жизни человеческой, к сожалению, ничего нельзя вычеркнуть, или поменять, или невзначай забыть, или сделать вид, не заметить. Бывают, конечно, и в ней пустые, никудышные дни, месяцы, даже годы, и в анкете, конечно, можно и без них обойтись, но наступит время последнего платежа, жизнь предъявит свой счёт без пробелов, без пропусков, и хочешь – не хочешь, а придётся принять его весь целиком... За всё заплатить сполна.

Неожиданно Павел вспомнил одного своего гимназического одноклассника. Как его звали?.. Коля?.. Витя?.. Милый, застенчивый парень с непокорным вихром на макушке и большими оттопыренными ушами... Имя Павел забыл, а вот фамилию навсегда запомнил. Она была так созвучна нынешнему названию этой станции – Сучков. Фамилия как фамилия, ничего особенного, а тем более непристойного в ней не было, но именно из-за своей обыкновенной фамилии бедный парень страдал нестерпимо: повсюду, а особенно в присутствии девчонок, гимназисты безжалостно дразнили его, изменяя в ней всего-навсего ударение. Так Сучков превратился в Сучкова, и жизнь молодого человека была безнадежно разбита. Гимназисты – жестокий народец!..

Жив ли он?.. А если удалось бедному парню в этом страшном веке выжить, то любопытно, его до сих пор так же дразнят или как-то иначе?

По перрону от вагона к вагону шустро сновали закутанные в большие клетчатые платки бабуся с плетёными корзинами, в которых угадывалась вынесенная на продажу нехитрая домашняя снедь. Со своей верхней полки Павел видел, как старшина, отчаянно жестикулируя, уговаривал самую маленькую из них скостить цену. Та отчаянно сопротивлялась, но времени на торговлю уже не осталось: протяжно прогудел паровоз, и бабуся нехотя махнула рукой. Лязгнули вагонные сцепления, поезд дёрнулся раз, другой, старшина сунул ей за пазуху измятую десятку и, подхватив газетный кулёк с едой, побежал к вагону.

Проводница, совсем ещё девочка – конопатая, курносая, с двумя тонкими косичками, больше походившими на тоненькие хвостики, заглянула в купе.

– Чай пить будем? Не то я к Людмилке в пятый вагон пойду.

– А как же мы тут без вас? Одни, всеми брошенные?

Павлу Петровичу захотелось пошутить, но сердце его вдруг болезненно сжалось, и, вместо улыбки, на лице нарисовалась кислая мина: "Может, и у меня где-нибудь вот такая же дочка? Или сын..." Ему было и горько, и радостно, и обидно.

– Ничего не поделаешь, чуток поскучать придётся... – девчушка кокетничала неумело, наивно, но потому очень трогательно, и сердце бедного Павла Петровича растаяло окончательно. – И потом, я же не насовсем ухожу, я скоро обратно буду. – И, чуть смутившись, призналась. – Людмилка обещалась научить меня пятку вязать.

– Берегись!.. – старшина боком протиснулся в купе и вывалил на стол пакет с едой, купленной на вокзале у бабки. – А ну-ка, цурочка, сооруди нам в темпе чайку.

– Слушаюсь, товарищ начальник! – она лихо отдала честь.

– С двойным сахаром! – сурово приказал старшина.

– Есть! – и озорно зыркнула в сторону Павла Петровича, – Вам тоже с двойным?

– А то як же?!.. – старшина решительно брал инициативу в свои руки. – Усим грамадя нам нашей великой витчизны – с двойным! Чтобы горькая житуха наша, хоть на хвылыночку, сладкой нам показалась! – и кивком головы пригласил к столу Павла Петровича. – Давай, батя, пока бульбочка ще ни застыла. Чаи гонять будем!.. А ни то для особо желающих у меня и горилочка е!.. Как наш капитан говорит, "Для сугреву!" – и извлёк из кармана шинели початую поллитровку.

– У меня только крабы... – начал было Павел Петрович, но старшина решительно замахал на него руками.

– И думать даже не смей! Я их не то, чтобы есть, я глядеть на них не могу! Вот они где у меня! – и ребром ладони он провёл у себя под носом. – У нас в части не токо суп, скоро компот из крабов варить зачнут!.. Честное слово! Не веришь?

– Да нет, почему же? Компот из крабов... это оригинально. Никогда не пробовал.

– И не пробуй, не советую, коли жисть тебе дорога! Нет, батя, мы с тобой лучше попросту. Вот она бульбочка вот она, капу сточка!.. Ну, шо?.. Потекли слюнки? То-то! Много ли русскому человеку для полного щастя надо?

– И этого вполне довольно.

– Вот и я говорю. Швыдче, батя, водка стынет!

Павел Петрович, захватив мыло и бывшее когда-то белым казённое вафельное полотенце, пошёл мыть руки, а старшина принялся готовить к трапезе стол.

Айв самом деле, много ли человеку для счастья надо?

Если честно, то самую малость. При условии, что будет он жить без затей и не станет мечтать о несбыточном.

Когда Павел вернулся в купе, столик у окна был празднично сервирован. Старшина постарался на совесть: крахмальную скатерть заменяла изрядно помятая газета с бодрым названием "Вперёд!", а на ней аккуратно лежала варёная картошка "в мундире", рядом на

таким же, как и у Павла Петровича вафельном полотенце, возвышалась горка квашеной капусты, тут же – солёные огурцы, мочёные яблоки и несколько баранок с маком.

– А баранки откуда? – удивился Павел Петрович.

– Та ж Нюрка-проводница угостила. Славная дивчинка. Дай Бог ей хлопчика хорошего и детишек штук двадцать!

Старшина разлил водку по стаканам:

– Ты садись, батя, не тушуйся. Як тебя кличут?

– Павлом.

– А по батюшке?

– Петровичем.

– А я Тарас, но не Бульба, а Стецюк. Папаша мой Опанас, чистопородным хохлом был, а мамка такая ж кацапка, як и ты. Так что по моим жилам вместе с кровью дружба наших братских народов тече. Вникай! Ну, будь здоров, Петрович, не кашляй. За знакомство!

Они чокнулись. Тарас разом опрокинул свои полстакана, а Павел Петрович сделал робкий глоток, скукожился и поскорее закусил водку солёным огурцом.

– Ты, Петрович, бульбочку бери, пока тёплая, – старшина взял картофелину и, не очистив от кожуры, целиком отправил в рот.

– Всё, как просили, с двойным! Приятно кушать! – проводница Нюра поставила на стол четыре стакана горячего чая и выложила из кармана целую гору сахара. – Я нарочно вам побольше принесла: вдруг ещё захочете, а меня нет, – и, уже уходя, весело помахала рукой. – Не скучайте! Если что, я в пятом пошла к Людмилке пятку вязать!..

Тарас посмотрел ей вслед, коротко утробно охнул:

– Ежели б не война, моя Ганночка точь-в-точь такая ж была б... – он застонал, замотал головой. – Нет, ты мне, батя, скажи, хто придумал, чтобы детишек на войне убивать?.. Ну, нас, мужиков, понятно: мы, может, для того и зроблены. Может, это наша... наша, – старшине очень хотелось найти точное слово, – во! работа! Согласен. Но вот баб и детишек за што?.. Ведь несправедливость это, а для чего?! Ни одна душа растолковать мне не може... Ты где воевал?

– Нигде. Не довелось мне как-то повоевать.

– Ну, тогда навряд поймёшь... Я в Вене войну кончил, а воевал знаешь для чего? "За Родину! За Сталина!", думаешь? Як бы не так! Дюже хотелось поскорее домой. Вникаешь? Ну, возвратился, и шо?.. Дома нет!.. И никого в том доме нет... То есть совсем никого... И вышло... зря я так торопился... Один, як перст, Тарас Стецюк на земли остался... Прочие уси... – он кивнул головой вверх, – меня там дожидаются. А я вот тут подзадержался чуток...

Он помолчал, покрутил в широких ладонях пустой стакан.

– Вот ведь як любопытно житуха наша устроена!.. Ты токо вникни!.. По жизни уси люди на две половинки разделились: одни, которые счастливые... ну, более-менее... И другие, которые наоборот. Невезучие то есть. Я – из вторых. А почему? Отвечаю... Усю дорогу мне не фартит... Ну, то есть абсолютно и безповоротно! Ты гляди: школы я не закончил, всего восемь классов, а без образования, сам знаешь. Папашка на пилораме руку по локоть оттяпал, а в доме восемь ртов, и уси есть просят. Потому лётчик из меня не вышел, а получился... дояр. Нет, ты вникни, героическую профессию на бабью променял. Заместо того, штоб под небесами летать, я по колено в дерьме коров за титьки дёргал! Да надо мной уси пацаны, як жеребчики ржали... Ладно, проехали. И хоша издевались надо мной, а токо, когда женился Стецюк, уси хохмачи чуть не лопнули. От зависти. Жинка у меня така гарнесенька была – чернобрива та черноока!.. Кажись, живи, Тараска, да радуйся, так нет! Лариса моя, ластонька моя чернобровая, возьми, да и помри в родах!.. Ну шо за невезуха така, скажи!.. И осталась у меня Ганночка – и утешение мне, и отрада! Но... Паскуда-Гитлер и это счастье моё порушил!.. Ей бы в том годе в аккурат шестнадцать исполнилось... – по щеке его поползла предательская слеза. – Вот и остался я на сверхсрочную, потому як деваться мне, Петрович, некуда... Абсолютно и безповоротно.

Потом он долго молчал, думал о чём-то своём, невесёлом. И вдруг рассмеялся:

– Нет, невезуха моя, видать, ни в жисть не закончится. Ты знаешь, куда я еду?

– Нет.

– И я не знаю.

Павел Петрович опешил:

– Я паровоз потерял, – с горечью признался старшина.

– То есть как... "паровоз"?!..

– Натурально, – и, заметив недоумение Павла Петровича, разъяснил: – Нашей части паровоз подарили... Управление железной дороги... Ну, и отправил меня командир в Кутьму подарок получать, чтобы, значит, доставить в распоряжение части в целости и сохранности. Я подарок получил чин-чинарём, расписался в ведомости, як полагается, еле-еле за две бутылки уломал начальника станции Кутьма прицепить паровоз к пассажирскому составу, а сам баринком на верхней полке в плацкартном вагоне и, честно признаюсь, маленько напозволял себе... Расслабился. И шо б итоге?.. Сам-то я к месту назначения прибыл, а паровоз... Тю-тю... Отцепили подарунок железнодорожников где-то по пути, а в яком именно месте – неизвестно. Вот и еду я неведомо куда, искать неведомо як свою дорожную пропажу. Командир так и сказал: "Без паровоза лучше тебе, Стецюк, не возвращаться!.." А як его найдёшь? Стибрили, думаю, окончательно и безповоротно!.. Давай, Петрович, знаешь, за шо выпьем?.. Чтобы паровозные страдания мои благополучно закончились!.. Не век же мне по железным дорогам мыкаться.

Он взял бутылку, чтобы разлить водку, и только тут заметил: свою прежнюю порцию Павел Петрович почти не тронул.

– Петрович!.. Так мы не уговаривались!..пей до дна, не годится злобу в стакане оставлять. Нехорошо.

Старшина залпом отправил содержимое своего стакана в рот и не поморщился. Павел решил последовать его примеру, но на половине глотка задохнулся, жестоко закашлялся.

– Не у то горло пошло? – старшина дубасил его своей здоровенной лапой по спине. – Эх, ты, бедолага!

– Давно водку не пил, – с трудом выдавил из себя Павел Петрович, еле отдышавшись.

– А шо это значит – давно?.. Неделю?.. Две?..

– Да нет, подольше... девятнадцать лет...

– Шо ты сказал?!.. – теперь от удивления и ужаса задохнулся Тарас. – Скоко-скоко?!.. Девятнадцать?!..

– Без малого.

– Заливаешь!.. Ни за шо не поверю... штобы... стоко лет!.. Ведь так и помереть можно!..

– Не хочешь, не верь, – улыбнулся Павел Петрович.

– И ни грамма?..

– Ни капельки.

– А як же ты?!.. – старшина был потрясён. – Як жил?.. Чем занимался?!.. Да не, такое ни один нормальный мужик не выдюжит!

– Значит, я ненормальный, – Павел Петрович понял: пьющему человеку в реальность его слов поверить почти невозможно, и, горько усмехнувшись, добавил. – Но ты не думай, я не одинок... Нас таких, "ненормальных", довольно много по всему Союзу разбросано.

– Ты смотри!.. – не унимался Тарас. – И ведь выжил!.. Я б не смог!.. Или сбрендил бы, или руки на себя наложил!.. И як это ты?!..

Павел вздохнул, улыбнулся и вдруг неожиданно даже для самого себя заговорил. Никому и никогда, даже отцу Серафиму, он не открывал свою жизнь так подробно и обстоятельно, как сейчас этому несчастному старшине, потерявшему паровоз, случайному попутчику, с которым он никогда больше не увидится.

10

Ночью накануне Покрова выпал первый снег и покрыл землю чистым белым ковром. На короткое время спрятал от людских глаз мутную осеннюю грязь.

По случаю праздника в Дальние Ключи приехал отец Георгий, рыхлый толстяк, вечно прячущий добродушную ухмылку в огромной пушистой бороде. Он обладал редким по красоте и густоте басом и, когда возглашал на литургии: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами!.." – сердца прихожан наполнялись благоговейным трепетом. Никто не мог вот так, одним возгласом, вызвать в душе человеческой неизъяснимый восторг. Но отца Георгия любили не только за голос, а, главным образом, потому, что умел он как-то по-особому расположить к себе людей. И на исповедь все шли к нему охотно, радостно и легко каялись во всех совершённых грехах. А за долгие промежутки между праздниками, когда в храме не совершались богослужения, их набиралось немало – маленьких и больших, ведомых и неведомых. Кто оскоромился в постный день, кто поругался с соседкой из-за того, что плохо привязанная коза забрела в чужой огород и попортила капустные грядки, а кто и в том, что позавидовала она, подлая, своей свояченице, у которой муж, вопреки всему, выжил и вернулся с войны. И пусть был он покалечен и пил в мёртвую, сквернословил, а бывало, и поколачивал благоверную свою, зато была она мужниной женой и стоял в избе мужицкий дух, а запах махорки, из-за которого она, дура, в прежние времена гоняла своего непутёвого на крыльцо в дождь и стужу, теперь был ей слаще и дороже любых заморских ароматов...

Да и мало ли грехов у нас?.. Если покопаться да поглубже вовнутрь себя заглянуть, чего только там не отыщется?!.. На самом доньшке исстрадавшейся души человеческой!

Но в этот приезд отца Георгия интерес к предстоящей службе был особый. Ещё бы!.. Вслед за литургией, а весть об этом разнеслась по всей округе ещё две недели тому назад, должны были последовать крестины. И крестить батюшке предстояло не какого-нибудь несмышлёныша-младенца, а колхозного бухгалтера Иосифа Соломоновича Бланка. Давненько в храме не было подобного столпотворения!.. Даже из соседних деревень по такому случаю прибыли люди: кто на мотоцикле, кто на лошади, а кто и на своих двоих. О бабах и говорить нечего: они всегда любопытством отличались. Но мужики!.. Мужики-то!.. Их, бывало, в храм на аркане не затащишь, а и те к концу службы потянулись к церкви. Уж очень выдающимся и небывалым казалось предстоящее событие: во-первых – еврей, во-вторых – бухгалтер, то есть человек образованный, а в-третьих – пятьдесят два года возраст не маленький, стало быть, человек не с дуру, а по трезвому размышлению на такой шаг решился. Ничего похожего никто прежде не видал. А главное – для чего ему креститься понадобилось?!.. Зачем?!..

Да, загадал Иосиф своим односельчанам задачку!.. И решить её всем очень хотелось. Ну, разве не любопытно?!.. Так или иначе, будет о чём с соседями посудачить да детям, что в городе живут, рассказать!

Сам виновник этого всеобщего интереса отнёсся к предстоящему событию очень серьёзно. Всю службу он скромно простоял в сторонке чуть отдельно ото всех, не крестился, не бил поклонов, но как-то подчёркнуто внимательно вслушивался в каждое слово священника и время от времени доставал из кармана тщательно выглаженных брюк чистый белый платок и протирали им свою блестящую лысину. И тут становилось заметно, как дрожат его руки. Очень уж волновался...

Но вот хор пропел: "Ис полла эти, дэспота", молитвенно сложив руки на груди, потянулись к святому причастию те, кто с утра исповедовался, и после целования креста служба, наконец, закончилась. В левом приделе уже со вчерашнего вечера была подготовлена купель, и теперь Алексей Иванович, сняв крышку, осторожно локтем, как это делают мамки перед купа-

нием своих чад, попробовал не очень ли холодная в ней вода, и, убедившись, что температура вполне терпима, дал Бланку знак, чтобы тот раздевался.

Народ, дабы не пропустить самого интересного, перешёптываясь и посмеиваясь, сгрудился возле купели.

– Это что за столпотворение? – густой бас отца Георгия накрыл любопытствующую толпу. – Вы в храм Божий или в цирк Шапито пожаловали?!.. Тут вам никто представлений устраивать не станет! Имейте хоть малое уважение... Сейчас великое таинство совершится, и празднo любопытствующим присутствовать при сём совершенно не обязательно. Алексей Иванович, – обратился он к своему добровольному помощнику, – крёстные родители у раба Божьего Иосифа есть?

– А то как же!.. Я и вот... бабка Анисья... – Богомоллов поверх людских голов попытался найти в толпе крёстную мать. И та, маленькая, аккуратненькая, в белом платочке на голове, бочком, бочком, но, всё же сознавая своё значение и важность момента, протиснулась вперёд. На лице её проступала величавая торжественность.

– Вот ты с рабой Божьей Анисьей останься, а остальных попрошу из храма удалиться. Недовольный ропот пробежал среди прихожан.

– Дорогие братья и сестры! Не вводите во грех. Не понуждайте меня голос свой возвышать, – отец Георгий был непреклонен. – Па-пра-шу!..

С таким мощным басом спорить было бесполезно и даже опасно, а потому обманутые в самых сокровенных своих ожиданиях люди, ворча и разочарованно вздыхая, потянулись на улицу.

Когда церковь опустела, отец Георгий широко перекрестился, и в гулкой пустоте храма загремел, загрохотал его раскатистый бас:

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!..

Выставленные из церкви мужики и бабы сгрудились при входе. Несмотря на то, что увидеть во всех подробностях уникальное событие, ради которого все в этот день собрались в церкви и чего целых две недели ожидали с таким любопытством и нетерпением, так и не удалось, народ расходиться не торопился. Мужики задымили своими самокрутками, а бабы, разбившись на кучки по семь-восемь человек и прислушиваясь к доносившемуся из храма голосу отца Георгия, продолжали жарко обсуждать эти необычные крестины:

– Слыхали? У него, говорят, всю семью немец в печке спалил.

– В какой такой печке?

– В специальной... "Криматорий" называется.

– Поди ж ты!..

– Это что же?.. Вроде синатория какого?

– Ага!.. Тебя бы в такой синаторий, я бы тогда на тебя поглядела!

– Врёшь ты всё!..

– Не, не врёт... Я тоже про этот самый криматорий слыхала...

– Немец всех евреев под корень хотел извести.

– Да за что же их так?

– И не токо евреев, а нас, русских, что?.. Не хотел, скажешь?

– Ох, не говори!

– Нам, поди, поболее прочих досталось!..

– Скоко в одну нашу деревню похоронок пришло!..

– Почитай, токо в шести избах мужики-то и остались...

– Повезло...

– Да уж, повезло, что прежде смерти, немец их покалечил.

– И взаправду повезло... Неча Бога гневить.

– А я и не гневлю, я правду говорю.

- Это токо у нас...
- А по всей России?..
- И не счесть!..
- Нашей кровушкой Гитлера порешили!..

Внизу на дороге из-за поворота показались две машины. В первой все тут же признали задрипаный "газик" председателя колхоза, а вот вторая, новенькая блестящая "Победа", в здешних краях не водилась и была явно из города. Мужики, до сих пор не принимавшие участия в бабьем разговоре, оживились.

- Смотрите!.. Никак начальство на крестины к Иосифу пожаловало!..
- Ай да Иосиф!.. Ай да сукин сын!..
- Ото всех скрыл, какие связи у него в городе!..
- Ну, хитрюга!..
- А они все такие.
- У них даже на том свете свои люди сидят. Всё у них схвачено. И везде.
- Одно название – "еврей"!..

Машины остановились. Из "газика" первым выбрался Герасим Тимофеевич, за ним – председатель сельсовета и парторг колхоза Галина Ивановна и, наконец, неуёмный вожак сельской молодёжи Никитка Новиков, что привело в замешательство всех собравшихся возле церкви. Факт публичной порки секретаря комсомольской ячейки скрыть от колхозной общестственности не удалось, и вот уже две недели сельские остроловы перемывали на все лады косточки несчастному вожаку, придумывали ему новую кличку и, в результате, сошлись на том, что отныне у Никиты Сергеевича Новикова будет шикарная двойная фамилия – Гнойников-Поротый. Вот почему появление на людях опозоренного парня вызвало такое всеобщее изумление. Ему бы в закуточке тихонько сидеть и людям на глаза не показываться!..

А из сверкающей свежей краской "Победы" появилась совсем другая публика: майор милиции в форме и при орденах, которые угадывались за распахнутыми полами синей шинели, усталая пожилая женщина в сером драповом пальто и с кукишем собранных на затылке редких седых волос, а также двое мужчин в штатском. Один – коренастый, крепко сбитый, с коротким колючим бобриком на совершенно круглой голове, другой – хлипкий, высокий интеллигент в очках, всё время сползающих с длинного, заострённого к низу носа.

– Здравствуйте, товарищи! – первой с народом поздоровалась усталая женщина в пальто, отчего все сразу признали, кто в этой компании главный.

- Здравствуйте, – нестройным хором ответили колхозники.
- Почему не работаем, товарищи?
- Так ведь праздник сегодня.
- Какой праздник?
- Покров Пресвятой Богородицы. Разве не знаете?

– Я, товарищи, знаю наши советские праздники, а все прочие отношу к пережиткам в сознании отсталых граждан, которые надо искоренять!.. Выжигать калёным железом!

Она сказала это страстно и убеждённо. Было только непонятно, кого или что надо выжигать и искоренять? Пережитки или стоящих перед ней отсталых граждан? Но, не дав себе труда устранить несурязицу, она обернулась к председателю колхоза и, строго покачав головой, добавила:

- Не думала я, товарищ Седых, что у тебя в колхозе дисциплина хромает. Не думала... Герасим Тимофеевич был мрачнее тучи.

– Что молчишь?.. Представь нас несознательным товарищам колхозникам, – и после короткой паузы добавила. – Шучу, конечно.

Но никто на эту шутку почему-то не рассмеялся.

– Знакомьтесь, товарищи, секретарь нашего райкома Рерберг... Эмилия Вильевна... Вот... – та коротко кивнула головой. – Теперь далее, – на председателя колхоза было больно смотреть, таким он выглядел жалким и потерянным. – Товарищ майор – наша районная милиция...

– Коломиец Игнат Сидорович, – майор широко во весь свой губастый рот улыбнулся и лихо козырнул.

– Панченко Михаил... – Седых слегка замялся, вспоминая редкое отчество.

– Януариевич, – подсказал высокий интеллигент в сползающих на кончик носа очках и, не дожидаясь официального представления, скромно пояснил: – Я, так сказать, районный министр культуры, товарищи. То есть я ей, культурой то есть, заведую...

Кто-то в толпе громко хмыкнул:

– Гляди-ка, и министры к нам зачастили!

Но остряка-одиночку никто не поддержал. Все ждали.

– И, наконец...

– Меня представлять не надо! – резко оборвал председателя человек с бобриком на голове. – Я здесь лицо неофициальное.

Герасим Тимофеевич кивнул и замолчал, мрачно уставившись в землю, стараясь не глядеть на стоящих вокруг людей.

Повисла тяжелая пауза.

Простой русский человек не любит и боится начальства, какое бы оно ни было, районное, областное или союзное. За долгие годы общения с ним крестьянин привык: ничего хорошего ждать от сильных мира сего не приходится. Но, когда начальство без всякого видимого повода собирается в одном месте да ещё в таком расширенном составе, жди не просто неприятностей, жди беды. Это проверено. Не раз и не два.

– Кто начнёт? – Эмилия Рерберг строго оглядела свою свиту.

– Можно я? – выскочил Никитка. Видно, очень уж зудело у него в одном месте.

– Никита Сергеевич, не торопись, и до тебя очередь дойдёт. А пока... Галина Ивановна, ты – парторг, тебе и карты в руки.

Бледная, как полотно, с плотно сжатым ртом и стиснутыми кулаками Галина Ивановна вышла вперёд. Немало бед довелось испытать этой женщине за сорок два года её невесёлой жизни. Помнила она, как раскулачивали деда и отца... И как везли их потом с тёплого кубанского юга куда-то на север в набитых под завязку теплушках... И как в дороге умерла её годовалая сестрёнка... И как в первые дни на новом месте спали они под открытым небом, а ведь был уже конец сентября, и первые заморозки по ночам серебрили пожухлую траву... И как в тридцать седьмом забрали сначала деда, а потом отца, и как в сорок третьем получила она похоронку: "Ваш муж, гвардии сержант Прохоров Андрей Алексеевич, пал смертью храбрых в боях за Родину"... И как горевала и убивалась, а потом сама, в одиночку, тащила на себе не только всю семью – троих ребятишек и старую бабу, свекровь, – но и весь колхоз... И как голодали, и как холодали...

Сколько же на твою долю невзгод и напастей выпало! Сколько горя и бед!.. Гордая русская женщина!.. И всё ты вынесла, всё превозмогла, всё перетерпела, всё смогла.

Но сейчас... То, что должна была она сделать сейчас, казалось ей выше человеческих сил.

– Товарищи!.. – голос Галины Ивановны сорвался на высокий фальцет, и она смолкла, кашлянула в кулак, потом обвела стоящих вокруг мужиков и баб тоскливым затравленным взглядом и почти прошептала. – Не могу... Простите...

– Стыдно!.. Стыдно, товарищ!.. – тоже тихо, но отчётливо и гневно так, чтобы слышали все, даже стоящие вдалеке, произнесла Эмилия Рерберг.

– Можно я?.. Ну, я вас очень прошу... Ну, пожалуйста!.. Дайте мне!.. – Никитка весь трясся от зуда и нетерпения.

– Что ж, давай, Никита Сергеевич. Покажи старшим товарищам, что такое партийная принципиальность. В твоих руках будущее! Дерзай!..

Никитка торжествовал. Пришёл и на его улицу праздник!.. Как он отомстит им сейчас!.. Всем и за всё!..

– Товарищи колхозники! – никогда ещё его комсомольские глаза не горели таким воодушевлением, никогда прежде не колотилось так пламенно в его груди комсомольское сердце. – Эре мракобесия пришёл конец! Свободный советский человек сбросил рабские путы и смело шагает в будущее! Вперёд, товарищ!.. Зори коммунизма видны на горизонте!.. Не отставай!.. Кто там шагает правой?левой!левой!левой!.. Да здравствует наш дорогой Никита Сергеевич!..

Он замолчал и, задрав голову, победоносно оглядел всех. Но тут же спохватился и уточнил:

– Я не себя, конечно... Я товарища Хрущёва имел в виду.

И что же? Вместо аплодисментов, среди людей раздались смешки, а Егор Крутов, выколавившая о свою деревянную ногу пепел из самодельной трубочки, спросил, как показалось Никитке, зло и ехидно:

– Дорогой ты наш Никита Сергеевич, ты хоть сам-то понимаешь, что за ахинею несёшь? Или как? Мели Никита, чтобы пузо было сыто?..

Народ развеселился ещё пуще:

– Осмелел парень!..

– А они, комсомольцы, все такие!..

– Да уж, нахальства им не занимать...

– Ну, надо же!.. Самого первого партийного секретаря... "имел в виду"!..

Колхозники от души потешались над незадачливым оратором.

Никитка готовил свою речь два дня и две ночи. Он так радовался, когда придумал "эру мракобесия" и когда решил вернуть стихи Маяковского!

Ведь это было так здорово!.. И вдруг какой-то калека... Какой-то алкаш, который и двух слов-то связать не может и речей таких настоящих никогда не слыхивал, вздумал смеяться над ним?!..

– А ты, товарищ Крутов, дурака из себя не строй!.. Я, между прочим, не глупее тебя!.. И, кажется, понятно выражаюсь, – теперь Никитка дрожал от обиды и гнева.

– Во-первых, шенок, я у тебя в товарищах никогда не ходил, а во-вторых, ты своё прокаркал и теперь помолчи маленько, пока взрослые разговаривать будут.

– Да ты!.. Да я!.. – не сдавался Никитка.

– Цыц, тебе говорят!

– Никита Сергеевич, ты не ершишься. Зачем? Не годится перед несознательным элементом бисер метать, – Эмилия Рерберг ласково потрепала парня по голове. – Товарищ что-то не понял, и мы с тобой ему сейчас всё разъясним. Спрашивайте, товарищ, не стесняйтесь.

– Что я?.. Девица, чтобы стесняться? – разговаривать с начальством Егор не привык и потому в самом деле чувствовал себя не в своей тарелке. – Но, дорогие гости, интересно было бы узнать, для какой такой надобности столько важного народа к нам в колхоз понаехало?.. Думаю, не одного любопытства ради.

– Чтобы празднично любопытствовать, у нас на это времени нет! – сказала как отрезала партийная дама. – Михаил Январевич, – обратилась она к интеллигенту в очках. – Ты у нас инициатор сегодняшнего события, тебе и карты в руки. Говори.

Прежде, чем начать, Январевич откашлялся, поправил очки.

– Товарищи! – несмотря на свой хлипкий вид, "министр культуры" обладал звонким голосом, держался уверенно и солидно. – Согласитесь, наша партия и правительство постоянно и неустанно заботятся о благосостоянии нашего народа. Успехи коммунистического стро-

ительства в нашей стране, согласитесь, видны невооружённым глазом, и только отпетые враги первого в мире социалистического государства могут отрицать, что с каждым годом, с каждым днём жизнь советского человека становится лучше, богаче, светлее. Но, дорогие товарищи!.. С собой в коммунизм мы возьмём только всесторонне образованных, культурных людей. Людей без пережитков в сознании и предрассудков. Людей, которые живут и мыслят свободно!.. Согласитесь, товарищи, тяжёлое наследство получили мы от наших предков, которые на протяжении веков одурманивали себя ядом идеализма, и ошибочных представлений о мироустройстве, и подлинном назначении человека в этом меняющемся, в этом бурлящем мире! В том самом мире, который нам с вами, согласитесь, предстоит перестроить, чтобы вековая мечта человека о всеобщем братстве, об истинном равенстве и подлинной свободе стала реальностью!.. Согласитесь...

Слова вылетали из его уст легко и бездумно. Звонящий голос и бодрый тон Януарьевича были всем так знакомы, а шаблонные фразы и лозунги настолько обрыдли, что колхозники откровенно затосковали и уже слушали оратора в пол-уха. Всех охватило привычное тупое оцепенение, и народ был готов с ним тут же и во всём согласиться, только заканчивал бы он молоть языком поскорее. А не то ведь, ей Богу! – невмоготу.

И вдруг!..

Что он сказал?..

Или мы ослышались?..

Не сразу дошёл до сознания людей смысл только что сказанного бодрим интеллигентом.

– Как?!.. Как?!..

– Ну-ка, повтори!..

– Мы чего-то не поняли.

– А тут и понимать нечего, всё элементарно, товарищи: решением исполкома районного Совета Депутатов трудящихся ваша церковь объявляется памятником архитектуры и передаётся в ведение Комитета по культуре, то есть как бы собственно мне, – и очкарик коротко хохотнул.

– Погоди, погоди!.. Зачем передаётся?

– В какое такое ведение?..

– И не нужен нам никакой памятник...

– Как же это, братцы?.. А?..

– Храм порушить решили...

Януарьевич опять рассмеялся, но как-то уже не очень весело.

– Можете не беспокоиться, товарищи, мы ничего ломать не собираемся. Наоборот, выделим средства и церковь вашу отремонтируем. Увидите, краше прежнего станет.

– А на что нам краше?..

– Во всём районе благолепней храма не сыщешь!..

– Нам он и такой люб!..

– А про средства это мы уже слышали. Сколько этих самых средств нам на клуб выдали?..

– В самый раз хватило, чтобы двери да окна досками заколотить!..

– Вот тебе и все средства!..

Народ разволновался не на шутку.

– Тише!.. Тише, товарищи!.. Про клуб с председателя колхоза спрашивайте, подобные мелочи – это его забота. А мы сейчас, согласитесь, не о том говорим...

– Стыдись, Михаил!.. – резко, свистящим шёпотом оборвала Януарьевича товарищ Рерберг. – Что ты перед этой шантрапой на цыпочках прыгаешь?!.. Мы с тобой как договаривались? Покончить с этим делом быстро и решительно, а ты сопли размазал, нюни распустил. Одно слово – интеллигент!.. С комсомола пример бери! У Никиты Сергеевича учись!.. –

щёки Никитки заалели, он готов был заплакать от гордости и смущения. – Товарищ Коломиец, выручай хоть ты, а то культура наша в который уже раз слаба в коленках оказалась.

Януарьевич обиделся и, потупившись, концом шарфа, что свисал с его тощей шеи, стал протирать очки. Он скорбел и всем своим видом показывал, что вот, мол, дни и ночи напролёт работаешь, работаешь, а в награду одни только попреки и подзатыльники получаешь.

А майор крикнул и, пошире распахнув шинель, чтобы виднее стали его боевые награды, выступил вперёд.

– Народ, слушай сюда! – он сурово нахмурил брови, и выражение лица у него стало недовольное, брезгливое, словно в сотый уже раз говорил он об одном и том же, а народ был настолько чудовищно и безпросветно туп, что никак не мог или, что ещё хуже, не хотел его понять. – Короче!.. Для отправления любых ваших религиозных потребностей мы церковь эту с сегодняшнего дня закрываем и переводим из сугубо культового в сугубо культурное заведение. Надеюсь, понятно выражаюсь?..

– Кто здесь богохульствует и храм Божий заведением называет? – мощный бас отца Георгия заставил вздрогнуть от неожиданности даже партийное руководство района. Все настолько увлеклись выяснением отношений, что не заметили, как батюшка вместе со счастливым Иосифом Бланком и его крёстными родителями вышел из церкви.

– Как ты кстати!.. Тебя-то мне, голуба, и надо! – оживился майор. – Товарищ поп, сливай масло, Приехали. Закрывай свою лавочку.

И обернулся к очкарику:

– Где постановление исполкома?

– Я портфель в машине оставил, принесу сейчас, – спохватился тот и трусцой побежал к "Победе". Сегодня был явно не его день.

– Что за постановление? – встревожился отец Георгий.

– Лишают нас храма, батюшка!..

– Закреть решили.

– Осиротели мы!.. – заголосили бабы.

– Что?.. Завыли?.. – Никитка не мог скрыть вожделенного удовлетворения: сбывалось его неутолимое желание отомстить. Всем и за всё. – У вас настоящего храма и в помине-то не было. Тоже мне церковь называется, а в году всего раз пять отперта бывает... Смех один!.. Но ничего, и этому безобразию мы конец положим!.. Настал час!.. Теперь и она на пользу людям послужит!..

– Каким же это образом, отрок? Поведай нам, – отец Георгий хмурился всё больше и больше.

– А я здесь к Новому году музей открою!.. Настоящий!..

– Какой такой "музей"?!..

– Антирелигиозной агитации и пропаганды!.. Что скушали?!.. – торжествовал Никитка.

– В храме?!

– В нём! И со всех концов нашей необъятной родины в Дальние Ключи люди приезжать начнут и учиться станут, как с пережитками бороться надо!..

– Ах, ты поганец!.. – Егор стиснул в бессильной ярости огромные кулаки. – Стало быть это всё, – своей деревянной ногой он ткнул в сторону приезжих, – твоя работа?

– Моя! – Никитка откровенно злорадствовал.

– Эх!.. Мало тебе одной порки показалось, надо будет ещё задать... Имей в виду... Чтобы на всю свою паршивую жизнь запомнил, и впредь неповадно было.

– А за оскорбление действием вы мне ещё ответите!.. – вспыхнул комсомольский вожак. – По закону!.. Верно говорю, товарищ майор?.. Я на всех вас заявление написал!..

– Вот она!.. То есть оно... в смысле... постановление!.. – Януарьевич одной рукой протягивал майору бумагу с гербовой печатью, а другую руку прижимал к груди, пытаясь унять

страшное сердцебиение. Он сильно запыхался и широко открывал рот, стараясь глотнуть побольше воздуха. Видно было, что неусыпные заботы о районной культуре не позволяли ему быть в хорошей спортивной форме, и потому забег за постановлением туда и обратно по пересечённой местности мог закончиться для него настоящим сердечным приступом.

Майор взял бумагу, зачем-то повертел в руках, словно прикидывая, для какой такой ещё надобности её можно употребить, и как бы нехотя отдал отцу Георгию. Тот взял, долго читал, словно никак не мог вникнуть в смысл написанного. Люди сгрудились вокруг, пытаясь через головы впереди стоящих заглянуть в этот, казавшийся таким невинным, лист бумаги.

И тут в зловещей тишине прозвучал слабый женский голос:

– Никитушка!..

Все вздрогнули, обернулись.

– Что ты натворил, сынок?! – маленькая неказистая женщина с измученным скорбным лицом и страдальческими глазами, в которых, казалось, навсегда застыла непереносимая боль, прижав руки к пылающим щекам, не отрываясь смотрела на своего торжествующего сына.

– Мама, я прошу... – Никитка съезжился, как от удара, и злобно зыркнул из-под нахмуренных бровок на мать. – Мы с вами дома поговорим... Ладно?..

– Как я людям в глаза смотреть стану, сыночка?.. Что Господу отвечу?.. – в глазах её застыл ужас.

– Твоей вины, Настёна, нету тут никакой, – бабка Анисья сокрушённо качала головой. – И ты не убивайся так... Выродки, они в любой семье завсегда объявиться могут... Так что терпи, мать... Это тебе Господь испытание посылает... Терпи.

– Вам что-то не понятно, товарищ поп? – Эмилию Рерберг затянувшаяся пауза начала раздражать.

– Отчего же, гражданочка?.. Всё ясно, – батюшка вернул бумагу майору и, перекрестившись, тихо добавил. – Господи, прости их, бедных, ибо не ведают, что творят...

– Попрошу ключи от церкви, – Коломиец был явно доволен: дело двигалось к развязке. Алексей Иванович посмотрел на отца Георгия. Тот только развёл руками.

– Мы с тобой перед этим законом бессильны, дорогой мой.

И было странно видеть этого огромного человека таким маленьким, слабым и беспомощным.

– Понимаю... А ключи... Ключи я, конечно, принесу... Я сейчас, – и, тяжело переставляя ноги, которые в одночасье стали какими-то чугунными, Алексей Иванович пошёл в храм.

Потрясённые мужики и бабы стояли молча, не шевелясь, как на фотографии или на картинке, и даже казалось, не дышали.

– Люди добрые!.. Бабы!.. Мужики!.. Простите меня, окаянную!.. – Настя Новикова упала перед народом на колени. – Не ждала, не ведала, что собственный сын... Кровиношка родимая... так мать свою опозорит... Да что мать?!.. Весь род наш теперь проклят будет... Но... молю вас... Не держите зла... Хотя... О чём прошу?.. Чего жду?.. Поделом мне!.. Видно, так ещё ране решено Господом было... За грехи мои!.. Простите... не поминайте лихом... – и уткнулась головой в липкий мокрый снег.

– Смотри, поганец, до чего родную мать довёл!.. – не разжимая челюсти, процедил сквозь зубы Егор. От бессильного гнева он побагровел весь, на скулах у него вздулись желваки, и кадык заходил вверх-вниз, туда-сюда.

Бабы под руки подняли с земли Настю.

– Мама... За что же это вы меня так-то... перед народом срамите?.. Как не стыдно?!.. Я же упредил вас: дома поговорим! – Никитка растерялся и, честно говоря, не знал толком, что делать и как себя вести.

Тут пришёл черёд заговорить крепышу с бобриком на голове:

– Товарищи! – голос у него оказался красивый, вкрадчивый, эдакий бархатный баритон с нежными переливами и обертонами. – Нам очень нужна ваша помощь.

Не спеша он достал из внутреннего кармана пальто фотографию человека в профиль и анфас.

– Нашими органами разыскивается опасный преступник-рецидивист. Вот, взгляните, пожалуйста, – он пустил фотографию по рукам. – Он вам на глаза случайно не попался?

Люди молча передавали карточку от одного к другому и равнодушно качали головами. Жизнь приучила их держаться подальше от "органов". А в случае чего, если прищучат и начнут допытываться, мол, почему скрыл и не показал, можно сослаться или на плохое качество фотки, или на проблемы с глазами.

– Так это же богомоловский квартирант! – закричал Никитка, показывая на вышедшего из храма Алексея Ивановича. Он чуть не задохнулся от радости, признав в изображённом на снимке своего давишнего обидчика.

– Вам знаком этот человек? – ласково спросил крепыш, показывая Алексею Ивановичу фотографию "рецидивиста".

– Знаком, – коротко ответил тот. – Кому ключи от храма отдать?

Майор распахнул свою широкую ладонь.

– Мне давай, – и, получив ключи, решительно зашагал к церкви.

– И где же он? По-прежнему у вас квартирует?

– Да нет, ушёл.

– И давно?

– Недели две назад.

– И куда? Если, конечно, не секрет?

– Бог его знает. Он мне адреса своего не оставлял, а я и не спрашивал. Ушёл, и всё.

– Что ж не поинтересовались?

– Я праздным любопытством никогда не отличался.

– А вот мы, чрезвычайно любопытны, гражданин Богомолов. До крайности, – крепыш был всё так же ласков, но в голосе у него зазвучали металлические нотки. – И, чтобы наше любопытство удовлетворить, вам придётся с нами в город проехать, а то здесь, на свежем воздухе, обстановка к серьёзному разговору не располагает. Прошу, – и, взяв Алексея Ивановича под локоть, повёл его под гору, к "Победе".

– За работу, товарищи! Не годится в будний день без толку прохлаждаться, – Эмилия Рерберг направилась вслед за ними и уже на ходу коротко бросила в сторону председателя колхоза. – А с тобой. Герасим Тимофеевич, мы завтра на бюро поговорим. К девяти ноль-ноль будь любезен явиться в райком.

– Эмилия Вильевна! А со мной как же?! – заволновался "министр культуры". Он сообразил, что в "Победе" ему места не достанется. – Мне как?.. Самому добираться?

Но секретарь райкома не удостоила несчастного ответом.

– Садись ко мне в "газик", до бетонки подброшу, – буркнул председатель колхоза, стараясь не глядеть на потерянного Януаревича. И, месяя своими сапожищами таящий снег, быстро пошёл прочь.

И потом на горе у запертого храма ещё долго стояли люди, молчали и глядели вслед новенькой "Победе", которая увозила в неизвестность церковного старосту, инвалида и героя Отечественной войны Алексея Ивановича Богомолова.

11

Когда Павел Петрович открыл глаза, яркое солнце светило прямо в окно. Дождь кончился ещё ночью, и теперь, умытый и просветлённый, мир радостно просыпался навстречу последним погожим осенним дням. Вчерашняя грязь куда-то исчезла, и в большой чёрной луже на вокзальном перроне, из которой не спеша пила воду очень важная ворона, отражалось бездонное голубое небо.

Поезд стоял на каком-то полустанке.

Вчерашний попутчик – несчастный старшина, потерявший паровоз, очевидно, сошёл, когда Павел Петрович спал. От выпитой накануне водки в голове протяжно гудело, в животе свершалась бурная революция, всё внутри пересохло и горело, как в пустыне.

Давненько Павлу Петровичу не было так муторно, горько, стыдно, как теперь.

Он спустился со своей верхней полки и жадно припал к гранёному стакану. Бурый чай давно остыл и потерял вкус, но сейчас это не имело значения. Ему хотелось только одного – пить!

"Ну, зачем так над собой издеваться? Забыл сколько тебе лет? – с горечью спросил сам себя. – Когда же ты, дорогой мой, умнее станешь?"

В коридоре послышались голоса, и через минуту Нюра-проводница ввела в купе новых пассажиров: мужчину средних лет с недельной щетиной на обветренном загорелом лице и пожилую женщину в потёртом драповом пальто. За ней, держась за руку, шёл высоченный широкоплечий парень в солдатской шинели без погон. Из-под серой ушанки, чудом держащейся на его затылке, выглядывала плотная марлевая повязка, скрывавшая верхнюю часть лица.

– Сюда проходите. Тут у меня как раз три полочки свободные. Две нижних и одна верхняя. Устраивайтесь. Я вам сейчас бельё принесу, – сказала и побежала по коридору.

– Чур, моя верхняя! – мужчина забросил на полку небольшой фибровой чемодан. – А ты, Макаровна, внизу располагайся. Так сказать, согласно купленным билетам.

– Дай Бог тебе здоровья, Владик!.. – женщина опустила на пол свою поклажу. – Павлуша, сынок, ты вот тут садись, в уголок, а корзинку мне давай, – она взяла у сына большую плетёную корзинку, прикрытую сверху чистой белой тряпицей, и поставила под стол. Затем помогла ему снять шинель и только после этого разделась сама.

Парень осторожно присел на краешек вагонного сиденья около двери. Большие сильные руки, с детства привыкшие к крестьянскому труду, беспомощно лежали у него на коленях. По тому, как он сидел: прямо, откинув назад забинтованную голову, было видно: не привык ещё мальчишка к своему новому положению незрячего человека. Казалось, он всё время напряжённо прислушивается: что происходит вокруг него.

– Багаж можно сюда, под сиденье уложить, если тебе, конечно, что в дороге не понадобится, – Владик помог женщине спрятать в ящик под полкой её чемодан. – Между прочим, удобную штуку немцы придумали. Серьёзная нация. Нам такого ни в жисть не изобрести.

– Почему "ни в жисть"?.. У меня в доме точно такой короб в горнице имеется. Я туда зимние вещи на лето прячу. Алексей Степаныч, муж мой, Царство ему Небесное, ещё до войны сработал, – Макаровна даже слегка обиделась. – А немцы тут с какого боку присоседились?

– Как это "с какого"?!.. Отстала ты, Макаровна!.. Ох, отстала!.. Вагоны эти в Гэдээре сделаны. Соображаешь?

– В каком таком "Гэдээре"?

– Страна у немцев так называется – Гэ Дэ Эр по-нашему. Но это сокращённо. А если целиком, то Германская Демократическая Республика. Соображаешь? Стало быть, немцы тут главные виновники.

– А они, немцы, везде главные виновники. Виноватее их на всём белом свете никого не сыщешь. Какую бойню по всему миру устроили!..

– Какая ты несознательная, Макаровна!.. Скажешь тоже!.. – мужчина был явно раздосадован. – Они теперь наши друзья. Соратники. Соображаешь?.. Конечно, есть и ещё другая Германия: Фэ Эр Гэ. Но эти не наши, эти с американцами дружбу водят. А с гэдэровцами мы сейчас в одном лагере... э-э-э... – он хотел по обыкновению сказать "сидим", но вовремя схватил себя за язык и с трудом, но всё же выкрутился, – ... находимся. Верно говорю, дед? – обратился он за поддержкой к Павлу Петровичу, но тот не ответил.

– В каком таком "лагере"? Лагеря у нас разные бывают. И пионерские, и другие... Всякие...

– В социалистическом!.. – мужчина начал терять терпение и слегка раздражаться. – Дед, хоть ты ей скажи!..

– Может, тебе, Владислав, они и друзья, а для меня... Извини... Они мужика моего в сорок третьем убили... Под Сталинградом... Так что ты, если хочешь, сиди с ними в этом самом лагере, а я вот с убивцами Лексея моего дружбу водить не собираюсь.

– Эх, Авдотья Макаровна!.. Повезло тебе, что, кроме меня и деда, никто нас не слышит, а не то... – и он многозначительно покачал головой.

Протяжно прогудел тепловоз, лязгнули вагонные сцепления, и поезд медленно тронулся. Чуть запыхавшись, с постельным бельём в руках в купе вошла неунывающая Нюра.

– Заждались? Бельё, честно скажу, чуть сыровато, но, если на полке разложить, оно у вас мигом просохнет.

И вдруг спохватилась:

– Ой!.. С добрым утром вас, товарищ генерал!.. Я как-то растерялась совсем.

Павел Петрович удивился, откуда она знает его бывшее звание, но виду не подал:

– С добрым утром, Нюра. Как успехи?.. Научилась пятку вязать?

– Ой!.. А я и не думала, что вы про меня такую малость запомните!.. – щёки девушки вспыхнули ярким румянцем. – Я теперь, товарищ генерал, могу и вам связать, если захотите... Вот только боюсь... шерсти у меня на полтора носка только.

– Спасибо, голубушка. Как-нибудь в другой раз, – Павел Петрович ласково погладил её по плечу и, прихватив полотенце, пошёл умываться. Уже в коридоре за спиной он услышал изумлённый возглас мужчины: "Чего?!.. Генерал?!.. – и жаркий сбивчивый шёпот Нюры.

Как много в нашей жизни значит звание! Чин. Был обыкновенный "дедок", но в одиночестве стал "его превосходительством". И не за какие-то выдающиеся заслуги, а оттого только, что назвали "дедка" генералом. И ведь сплошь и рядом так. Иной человек не то что почёта или славы, но и слова-то доброго не стоит, а повесь ему на грудь орден или хотя бы медаль, глядь, а отношение людей к нему уже изменилось. Он даже в собственных глазах расти начинает и незаметно так, потихоньку в "туза" превращается. И если не дал ему Господь разума, то от сознания собственной важности раздуется до невозможных размеров, как воздушный шарик на ярмарке. Велико человеческое тщеславие!.. Только вот беда, шарики эти частенько сдуваются, и от прежнего блеска и красоты одно воспоминание остаётся. А не то и вовсе... Хлоп! – и нету. Сколько их, несчастных, уже полопалось! И скольких эта горькая участь впереди ожидает?!..

Когда Павел Петрович вернулся в купе, Макаровна выкладывала из корзинки на стол, покрытый чистой белой тряпицей, домашнюю снедь.

– Вы меня извините, товарищ генерал, – новый попутчик вскочил и вытянулся перед Павлом Петровичем. – Я же не знал...

– О чём вы?.. – поморщился Троицкий.

– В том смысле, что я... Короче говоря, я вас, товарищ генерал, по ошибке "дедом" назвал. Сугубо по ошибке, без какой бы то ни было задней мысли!.. Поверьте... Я, признаться, совсем не хотел...

– Ерунда какая!.. Меня зовут Павел Петрович. А вас?

– Владислав Андреевич, – тот поспешно пожал протянутую руку. – Но вы меня лучше Владом зовите. Я так больше привык, – и уважительно добавил, – товарищ генерал.

– Будем знакомы, Владислав Андреевич. А что касается генеральства моего, оно в далёком прошлом безпробудным сном почивает, так что и вспоминать о нём, и тревожить его, ей Богу, не стоит.

И в ответ крепко пожал руку Влада. Затем обратился к парню, который всё так же неподвижно сидел на краешке вагонной полки в углу:

– А вас, молодой человек, я слышал, тоже Павлом зовут? – тот кивнул головой, но руки не подал. – Тёзки, значит...

– Мы с мужем в память свёкра Павлом его назвали, – Макаровна лодочкой протянула руку и церемонно представилась: – Авдотья Макаровна. Ведь говорили мне, не след дитё в честь покойника называть, не послушалась, безтолковая!.. Теперь вот, – она кивнула в сторону сына, – из-за моей дурачности Павлик страдать должен.

– Не говорите так, мама, – голос у Павлика оказался низким, густым. – Сколько раз повторять?.. Ни в чём вы не виноваты.

– Мне, сынок, лучше знать.

– А какая тут связь? – удивился Павел Петрович. – Никогда раньше не слышал, что детей в память предков называть не следует.

– Есть поверье такое, будто вместе с именем все беды, все несчастья, что довелось покойнику в этой жизни испытать, на младенчика переходят. Анна, золовка, ещё до крестин меня о том упреждала. Помню, я тогда посмеялась над ней, отмахнулась, а зря. И вот, пожалуйста, хошь верь, хошь нет, а всё так и случилось... Не думала, не гадала, а беду на сына навела... Павел Тимофеевич, свёкор мой, видный мужчина был, красавец, а только и сорока ему не было, как ослеп. Сарай во дворе загорелся, а там корова с телёнком, поросята... Он и бросился в огонь, скотину спасать... Корову вывел, а как стал поросят выносить... Шевелюра у него была на зависть всем мужикам, первая вспыхнула... Потом уже рубашка занялась... Стоит, в руках поросёнок верещит, а он сам, как свеча полыхает!.. Насилу огонь сбили... Обгорел он не так, чтобы очень, вот только волос лишился и зрение потерял.

– Суеверие это всё, – ухмыльнулся Владислав Андреевич. – Отсталость мышления.

В купе со стаканами горячего чая в руках вошла Нюра-проводница:

– Я вам, товарищ генерал, как вы любите, с двойным сахаром принесла. Приятно кушать.

– Нюра, голубушка, довольно меня генералом обзывать. У меня, между прочим, имя есть. Нормальное, человеческое – Павел Петрович. Договорились?

Щёки Нюры опять вспыхнули ярким румянцем, она прикусила нижнюю губу, что-то буркнула в ответ, лицо её кисло сморщилось, и она стремглав выскочила из купе в коридор.

– Нюра! Милая моя, куда вы?! – Павел Петрович испугался. Он не понял, чем так обидел эту бедную девочку и поспешил за ней.

Нюра сидела в своём служебном купе и горько плакала.

– Девочка моя!.. Ну, что вы?.. Я обидел вас?.. Простите... – он присел рядом с ней и обнял вздрагивающие худенькие плечи. – Простите старого дурака!

– И ничего подобного!.. И совсем даже не то!.. – она уткнулась в грудь Павла Петровича и заплакала ещё горше. – И ничего-то вы не понимаете!.. Вот, ни капельки!.. Хотя и генерал... –

– Ну, ну., девочка моя... давайте успокоимся... – он растерялся и на самом деле не знал, как быть. – Не надо, Нюра... Право, я прошу вас... Вот беда, не умею я успокаивать!.. Ну, скажите, в чём дело?.. Чем я вас так задел?..

– Ничего... я сейчас... я успокоюсь... Не сердитесь... Какая же я!.. Дура набитая!.. – всхлипывая и шмыгая носом, она ещё крепче прижалась к Павлу Петровичу.

Как легко ранить человеческую душу!.. Неосторожным словом, взглядом, ухмылкой... Да мало ли ещё чем!.. Ведь мы порой сами не замечаем, как безжалостны бываем, как грубы и безцеремонны в своём обращении с людьми. А душа человеческая так тонко устроена, так чутко реагирует на малейшую безтактность, её так легко ранить!..

Прошла, наверное, минута или даже две, прежде чем она, наконец, успокоилась.

– Ну, вот и ладно... Вот и хорошо, – он помог ей вытереть слёзы казённым вафельным полотенцем. – А теперь... выкладывайте, что же всё-таки с нами случилось?.. А?.. Отчего мы так горько рыдали?

Нюра подняла на него заплаканные счастливые глаза и чуть слышно прошептала.

– Голубушка...

– Что "голубушка"? – не понял Павел Петрович.

– Меня никто никогда не называл... так...

– Как?

– Голубушка... вот как!.. – и на глаза её вновь навернулись слёзы.

Сердце Павла Петровича сжалось от нежности, от жалости к этой простодушной трогательной девочке, и, чтобы самому не раскиснуть окончательно, он сурово нахмурил брови, грозно кашлянул в кулак и, наконец, что есть силы ударил этим самым кулаком по своей коленке.

– Понимаю, – только и смог выдавить из себя.

– Я – детдомовская... И кто у меня папка с мамкой, не знаю... И не видала их вовсе... И сколько помню, всю мою злосчастную жизнь меня токо так и звали: Нюрка да Нюрка... А иначе никак. Вроде клички кошачьей. Право слово... А так, чтобы... ласково... Вот, как вы, к примеру, так никто... никогда... А ласки каждому хочется!.. И тепла... Ведь правда же?.. Даже кошка и та об ноги трётся, чтобы погладил кто, – она напоследок порывисто всхлинула и, улыбнувшись, прибавила: – Спасибо вам, Павел Петрович, товарищ генерал. Огромное-преогромное спасибо. Дождалась-таки...

"Товарищ генерал" обнял её и поцеловал в лоб.

Сколько их, несчастных, обездоленных сирот, по всей России раскидано? И ведь не только зверствами фашистов, но и стараниями своих соотечественников, соседей, друзей и даже родных ломались судьбы, коверкались жизни ни в чём не повинных людей. А главное – деток!.. Деток-то за что?!..

Вот и его сын, его Матвей, невесть где.

Жив ли?.. Найдётся ли?..

К горлу подступал удушливый комок... Наверное, поэтому он ничего не ответил... Стало вдруг нестерпимо стыдно, щёки покрылись жгучим румянцем. Павел Петрович махнул рукой и пошёл обратно в своё купе. Когда он плакал в последний раз?.. Забыл, и слава Богу!..

– Милости просим, позавтракайте с нами. Никаких разносолов, правда... Еда домашняя, деревенская... Но вы отведайте, не побрезгуйте, – Авдотья Макаровна подвинулась, приглашая Павла Петровича к столу.

А там!.. Сваренные вкрутую яйца лежали на чистой тряпице, из-под марли выглядывал белоснежный творог, рядом – банка сметаны, в которой ложка стояла торчком, и крупно нарезанные ломти свежеспечённого деревенского хлеба, терпко пахнувшие печным дымком, дразнили одним видом своим. Павел Петрович слотнул обильную слюну. Давненько не видал он такого изобилия!

– А у меня, к сожалению, только крабы. Больше я вас ничем удивить не смогу.

– Да ну их, крабов этих! – отмахнулась Авдотья Макаровна. – И не рыба, и не мясо. Так, баловство одно.

– Деликатес! – уточнил Владислав. Он давно уже уплетал за обе щеки и только причмокивал от удовольствия.

– Я тебе, Петрович, лучше творожка со сметанкой положу. Попробуй... У Дони, моей кормилицы, молочко сладкое... Отведай.

– От такого приглашения трудно отказаться...

– А зачем отказываться? Ты кушай, батюшка, и никого не слушай. На здоровье!..

– Покорно благодарю.

Павел Петрович подсел к столу.

– В России от голода умереть никак невозможно, – Владислав с шумом отхлебнул чай из гранёного стакана. – Даже если в кармане, кроме громадной дыры, ни копейки, и в будущем беспросветный мрак нищеты намечается, непременно найдётся добрая душа и накормит. Вот как Макаровна, от пуза. Верно говорю? – и икнул. – Со вчерашнего дня не ел. Извиняюсь.

– Павлик, сынок, ты прилёт бы. С пяти утра на ногах.

– Не беспокойтесь, мама, я не устал.

Он по-прежнему сидел на нижней полке в углу, всё так же откинув назад голову и сложив на коленях руки, сжатые в кулаки. Толи дремал, то ли думал о чём-то своем. Макаровна порывисто вздохнула и робко спросила:

– Может, чайку попьёшь?

– Спасибо, не хочется, – он покачал головой и тут же тихо, словно стесняясь, попросил. – Вы меня, мама, проводите... в коридор?

– Пойдём, Павлуша, – мать сразу всё поняла. – Пойдём, – и, взяв сына за руку, вышла с ним из купе.

– Вот ведь судьба какая!.. Не приведи Господи! – Владислав ещё раз икнул и, вытирая казённым полотенцем рот, добавил. – Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.

– А что с ним? – Павел Петрович давно хотел спросить, но при парне стеснялся.

– Тяжёлое осколочное ранение. Граната разорвалась... буквально под ногами... Четверо на месте. Как говорится... не приходя в сознание... А двоих – Пашку и ещё одного пацана – искалечило так, что не знаешь, кому больше завидовать... Тем четверым, что Богу душу отдали, или этим... двоим... выжившим.

– Так ведь война уже одиннадцать лет как закончилась!

– Это, смотря какая. Отечественная – это точно, одиннадцать, а венгерская... почитай, год назад.

– Первый раз о такой войне слышу.

– Это я в фигуральном смысле. Настоящей войны там, конечно, не было. Да вы же сами знаете – в газетах её "венгерскими событиями" называли.

– Ничего я, Владислав Андреевич, не знаю, – Павел Петрович развёл руками. – В тех местах, где я последние девять лет провёл, газеты читать да слушать радио было как-то... недосуг.

Изумление Влада сменилось неподдельным восхищением:

– И вы тоже?!..

– Что "тоже"?

– Я в том смысле... что и вы тоже... как и я?.. Сидели?!.. – восторгу Влада не было границ.

– И в том смысле, и в этом, – и, не дав собеседнику опомниться, сам задал вопрос: – Так что же это за война такая была и что на этой "венгерской" войне с нашим соседом приключилось?

Влад открыл было рот, чтобы ответить, но тут вернулась Макаровна с сыном, и он прикусил язык.

– Павлуша, я постелю тебе?..

– Так ведь рано ещё, – видно было, что парень устал и не прочь полежать, однако перед взрослыми соседями не хотел показывать свою слабость.

– И вовсе не рано, – Макаровна достала из корзинки потрёпанную книжку. – Ты приляг, а я тебе почитаю, глядишь, и время быстрее пройдёт.

– Ложись, ложись, – поддержал её Павел Петрович. – И мы с Владиславом Андреевичем послушаем. Я в юности тоже Джеком Лондоном увлекался, – на потёртой обложке он успел прочитать заглавие: "Белый клык".

– Ладно, я полежу, – согласился Павел. – Только наверху, если можно. Так для всех удобней будет.

– Милости прошу! – Владислав взял с верхней полки свой чемодан, – Я ведь, как лучше, хотел.

Макаровна принялась застилать сыну постель.

– Товарищ генерал, покурить пока не желаете? – Влад достал из кармана изрядно помятую пачку "Памира" и, угощая, протянул Павлу Петровичу. – Прошу. Это, конечно, не "Герцеговина Флор", но другого курева в наличии не имеется.

Павел Петрович со дня своего ареста не курил, но тут с готовностью ответил:

– Пожалуй, я вам компанию составлю, – но сигарету так и не взял.

В коридоре Нюра-проводница и молодая мама, девчонка лет восемнадцати с толстенной рыжей косой и россыпью озорных веснушек на вздёрнутом носу, играли с годовалым малышом. Губастый карапуз, видимо, только-только научился ходить и теперь, издавая радостные вопли, хохоча и взвизгивая, с восторгом бегал по ковровой дорожке от мамы к Нюре и обратно.

– Пойдёмте в тамбур, – предложил Павел Петрович.

– Да уж, не станем детям и матерям атмосферу дымом отравлять, – в голосе Влада послышалась неожиданная нежность.

– Павел Петрович! Посмотрите, какой у нас богатырь растёт! – щёки Нюры покраснелись, глаза светились материнским счастьем. Казалось, не с чужим, со своим малышом она играла в эту минуту.

"Ох, и повезёт же тому парню, что женится на ней! – подумал Павел Петрович. – Дай Бог тебе счастья, милая, славная девочка".

В тамбуре Владислав тут же задымил, держа сигарету щепотью так, что горящий кончик её прятался в ладони, и, словно боясь, что его прервут или остановят, заговорил быстро, делая короткие паузы только для того, чтобы затянуться горьким махорочным дымом.

– Мы с Макаровой бок о бок живём, то есть не я, конечно, а матушка моя, покойница, пусть земля ей будет пухом, с ней соседствовала. Я-то в родном доме и тринадцати лет не прожил, – он скорбно вздохнул и, словно споткнулся, замолчал.

– Что так? – спросил Павел Петрович. – В бега ударился? Свободы захотелось?

– Да нет... Посадили меня. Сначала в колонию для несовершеннолетних... Я зерно из колхозного амбара горстями таскал. Очень кушать хотелось. В сорок втором голодали мы. Страсть!.. Летом ещё ничего, а зимой... целыми семьями вымирали. Так мы зерно это даже сырым ели, – он затянулся, выпустил через ноздри дым и продолжил. – А как стукнуло мне семнадцать, ещё срок накинули и во взрослую колонию перевели на Колыму. Пацаны-уголовники бунт *учинили* против нашего лагерного начальства, потому как издевалось оно над нами со вкусом, не передать как, – он опять затянулся. – Я в бунте участия не принимал, потому как знал, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Но кто по мелочам разбираться станет? И вкатили всей колонии ещё пятерик, как говорится, за "соучастие". Кроме застрельщиков, конечно, у тех двое самых главных даже вышку схлопотали, – снова затяжка. – Вышел я на поселение в пятьдесят первом, на "материк" мне дорога была заказана и остался я в Сусумане, а это, считай, золотая столица Колымы, на вечные времена. Так я решил тогда про себя, не мог даже в самом страшном сне представить, что усатый таракан концы отдаст и всё в нашей жизни

вверх тормашками перевернётся. Поначалу сильно бедствовал, но потом прибился к партии старателей и зажил припеваючи, относительно, конечно, но всё-таки! Ни в чём нужды не знал, – он затынулся и пояснил. – Там по долине драга ходит, золото моет для страны, а отвалы, как они, идиоты, считают "пустой породы", дают на откуп нам, старателям. Так честно скажу, мы своей бригадой за сезон в два раза больше золота намываем, чем эта махина за два года, ну, и денег соответственно зарабатываем немерено, – он вновь выпустил дым из ноздрей. – Так бы и жил я на Колыме безвылазно, только в сентябре получаю телеграмму: "Матушка ваша, Владислав Андреевич, преставилась, приезжайте на похороны". Я – к начальству, мол, так и так, отпустите с родительницей проститься. И что бы вы думали, – отпустили. На похороны я, само собой, не успел, но на "материк" наконец-то вырвался и теперь думаю в Москве в Генеральную прокуратуру заявление подать, чтобы, значит, сняли с меня судимость и разрешили жить, где захочу. Теперь, говорят, по всем лагерям такая кампания идёт, "реабилитация" называется. А вы случаем не под эту ли кампанию попали? Угадал?..

– Верно, попал, – улыбнулся Павел Петрович.

– Да-а... Бывшего зэка за версту видать, – сигарета его становилась всё короче, и маленький окурочок начал обжигать пальцы. – Так на чём я остановился, товарищ генерал?..

– На заявлении в прокуратуру, но прошу вас, Владислав Андреевич, довольны меня "генералом" обзывать, я же сказал, у меня имя-отчество есть.

– Не могу, – признался Влад. – Не привык я, чтобы генералов по имени-отчеству. Язык не поворачивается.

Павел Петрович хотел было спросить Влада, где и когда он так часто общался с генералами, что привык обращаться к ним только официально, но Владислав не дал ему это сделать.

– Так я, стало быть, продолжаю? Приехал я в деревню родимую, могилу матушки посетил и, как полагается, поминки для соседей устроил. Всё честь честью, как издревле заведено было. Хотя, если по правде, я почти и не знал никого. Но порядок есть порядок: дедовские традиции уважать надо. Вот на этих самых поминках и услышал я трагическую историю Авдотьи Макаровны и её сына Павла, – он загасил окурочок о подошву своего башмака и собрался было продолжить, но в это время дверь в тамбур приоткрылась, и в проеме показалось лицо Нюры-проводницы.

– Я вас ищу, а вы вон куда от меня попрыгались.

– А какая такая надобность в нас образовалась? – видно было, что Нюра очень нравится Владу, и он изо всех сил старался произвести на неё неотразимое впечатление опытного и галантного кавалера.

– К Ворохте подъезжаем, стоянка аж целых двадцать минут!.. Там рынок при вокзале очень хороший. Если хотите сувенир какой или покушать купить, лучшего места до самой Москвы не будет. Правда-правда.

– Спасибо, Нюра, – улыбнулся Павел Петрович. – Я вашим советом непременно воспользуюсь, – и обратился к Владу. – Извините, Владислав Андреевич, мы наш разговор чуть позже продолжим. Хочу Авдотью Макаровну за роскошный завтрак, каким она нас угостила, хоть чем-нибудь отблагодарить. Так что не обезсудьте.

– А это ничего, остальное я вам после расскажу, как возможность представится. Дорога впереди длинная, – успокоил Павла Петровича Влад. Тот согласно кивнул, и следом за Нюрой-проводницей они вернулись в вагон.

12

Наутро после того рокового дня, когда стараниями Никитки Новикова закрыли в Дальних Ключах храм, и новенькая блестящая "Победа" увезла Алексея Ивановича Богомолова в город, случилась беда.

Пропала Настёна – мать пламенного вожака деревенского комсомола.

Когда председательница сельсовета Галина Ивановна пришла на речку, чтобы набрать родниковой воды из ключа, бьющего из-под земли возле самого берега, то обнаружила на мостках наполненные водой два цинковых ведра, скинутую кем-то пару сапог, а на кустах ивняка, что подступали почти к самой воде, брошенную телогрейку. На берегу не было ни души. Галина Ивановна, естественно, удивилась, хотя поначалу решила, что хозяйка куда-то отошла, вот-вот вернётся и объяснит, зачем она промозглым осенним утром сняла телогрейку и повесила здесь на кустах. Галина Ивановна набрала воду, постояла у мостков ещё с четверть часа и, не дождавшись, поспешила домой, так как к восьми ей уже надо было быть в сельсовете. На душе у неё было непокойно, и часа через два, улучив минутку, она опять подошла к реке. И телогрейка, и наполненные ведра, и сапоги – всё было на прежнем месте. Галине Ивановне стало не по себе, и она забила тревогу. Страшная догадка шевельнулась в её мозгу: "Неужели она... Да нет... Нет!.. Не может быть!.." Не зная, что первым делом следует предпринять в таком случае, она бросилась к Егору. Председатель колхоза Герасим Тимофеевич ещё до первых петухов уехал в город на бюро райкома, поэтому Егор Крутов оставался единственным человеком во всей деревне, кто мог реально помочь. И он действительно помог, во всяком случае, объяснил, с чего начать.

Прежде всего надо было выяснить, чья телогрейка висит на ивняке, чьи ведра стоят на мостках.

И они пошли по домам. Галина Ивановна по правой стороне улицы, Егор – по левой.

К обеду, наконец, выяснили. Помогла бабка Анисья: её дом стоял как раз на спуске к реке, и она, вылезая из ледника, куда спускалась за картошкой, своими глазами видела, как очень рано, ещё темно было, Настёна Новикова прошла мимо неё с ведрами в руках. Бабка Анисья божилась, что они даже кивнулись дружка дружке, желая "доброго утра".

Пошли к Настёне домой – изба заперта. Отправились в школу и на переменке, изловив Никитку в коридоре, стали допытываться, где мать. Тот знать ничего не знал, ведать не ведал, но безпокойства никакого не выказал, во всяком случае вида не подал и даже заявил, что ничего общего со своей матерью он иметь не хочет, так как она "публично опозорила его комсомольскую честь".

Решили подождать.

Вечером, когда стемнело, поняли, ждать больше нечего, из сельсовета дозвонились в Ближние Ключи участковому – старшему сержанту Василь Игнатъичу Щуплому. Спустя полтора часа тот приехал на чиненом-перечиненом трофейном мотоцикле, в танковом шлеме на голове, с тремя медалями на груди и без обуви, то есть в одних шерстяных носках. Впрочем, объяснялось это просто: старший сержант был не то, чтобы очень пьян, но не слишком трезв, хотя держался молодцом. Дознания, ввиду тёмного времени суток, проводить не стал, взял телогрейку, сапоги и ведра в качестве вещественных улик, во время допроса Егора Крутова у того в избе добавил к выпитому ранее ещё полтора стакана самогонки, пришёл в полную негодность и, устроившись тут же на лавке, захрапел так, что в ответ на другом конце деревни залаяли собаки.

Егор поначалу попытался привести Василь Игнатъича в чувство и в сердцах пригрозил, что убьёт его, на что Щуплый сначала поднял голову и, не открывая глаз, отчётливо произнёс: "Мёртвое тело убить невозможно!" – а потом уже рухнул на пол. Крутов понял бесплодность

своих попыток и, бросив участкового распростёртым на полу, отправился ночевать к Алексею Ивановичу. Когда Богомолова забирали, он не успел оставить Егору ключи от дома, и изба его стояла открытой настежь – заходите, люди добрые, берите всё, что вашей душе угодно будет. А брать у церковного старосты в доме было что.

Путь Егора лежал мимо избы Новиковых. В окнах горел свет, и Егор решил заглянуть на огонёк – вдруг Настёна нашлась, и сидит себе сейчас в горнице за самоваром, и пьёт чай вприкуску.

Он постучал, ему никто не ответил, но дверь была отперта и, стукнув для порядка своим самодельным протезом о порог, Егор вошёл в избу. В красном углу, под материнскими иконами, сидел на лавке неутомимый борец с мракобесием и вековой отсталостью русского крестьянства Никитка Новиков и горько, безутешно плакал, как маленький.

Всхлипывая и давясь горячими слезами, он жалобно причитал:

– Мамонька, родненькая моя!.. Ну, зачем ты так-то?.. Зачем меня одного оставила?.. На кого покинула?.. На кого бросила сироту несчастного?.. Я же без тебя совсем не могу!.. Вернись, мамонька!.. Вернись, голубонька!.. Я тебя очень прошу, родимая!.. Очень-очень прошу... Как же я теперь?.. Мамонька!.. Кто меня накормит?.. Кто согреет, несчастного?.. Кто руку в беде подаст?.. Кто плечо в трудную минуту подставит?..

Горе Никитки было таким искренним, а сам он выглядел таким жалким, таким потерянным, что у Егора дрогнуло сердце:

– Ты это... того... Ты не убивайся так... Никита! Будь мужчиной, в конце концов!.. Я тебе серьёзно говорю... Найдётся мать твоя... Проснёшься завтра, а она уже тут как тут... Ей Богу!.. По дому хлопочет, в школу тебя собирает... вот увидишь...

Лучше бы Егору не успокаивать. Последними своими словами он так разжалобил Никитку, что тот не выдержал и заголосил ещё горше:

– Никогда не будет этого!.. Знаю, не будет!.. И не надо меня успокаивать! Я не маленький и знаю. Всё из-за меня, проклятого!.. Утопла моя мамонька, совсем утопла родимая!.. Всё из-за меня!.. – он захлёбывался в рыданиях, бормотал что-то несвязное, но что, разобрать было уже нельзя.

– Да, дела... – Егор в растерянности почесал свою плешь и вдруг решил: – Никитка, прекрати выть и меня послушай... Ты случаем не забыл, как в храме, когда мы тебя... – он на мгновение запнулся. – Ну, когда мы тебя... поучили маленько за богохульство твоё... Помнишь, как ты ершился тогда: мол, где же ваш Бог, почему, мол, не шарахнет меня молнией по башке?.. Не забыл?..

Никитка перестал реветь и со страхом посмотрел на Егора:

– И чего? – только и смог выдать из себя.

– А того, парень, что Господь за грехи нас не только молнией по башке шарашит. У него и пострашнее средства имеются. Запомни это на всю свою жизнь, Никитка, и не вздумай боле восставать на Него. Токо хуже сам себе сделаешь. Хотя... Куда хуже-то, коли мать родную потерял?.. Хуже некуда. Ты как думаешь?.. А?..

– Так стало быть... – в глазах парня стоял неподдельный ужас. – Это что же?.. Выходит, наказание мне?!..

– А то как же?!.. Моли, Господа, парень, чтобы на этом все несчастья твои закончились. Он, конечно, милосерд, но и гнев его...

Егор не договорил, но по лицу его Никитка и так всё понял. Без слов. Лицо его перекопилось, как от страшной, мучительной боли.

– Нет!.. Нет!.. Не хочу!.. – заорал он хриплым шёпотом, сполз со скамьи на пол и, вцепившись руками в деревяшку Егора, зарыдал, но уже без слёз. – Спаси меня, дядя Егор!.. Спаси!..

Его бил страшный озноб, руки ходили ходуном, глаза не бегали – метались в ужасе, губы шептали только одно: "Спаси!..". Егор испугался не на шутку. Никогда прежде, даже в самые страшные моменты на фронте не доводилось ему сталкиваться с подобным.

– Ты, Никита, это... того... ты встань... – он с трудом поднял парня с пола, усадил на скамью, сам сел рядом. Никитка впился руками в его плечи и всем своим дрожащим телом прижался к нему, ища спасения. – Ну, ну... Вот и ладно... Ты успокойся, Никитка... Я с тобой... Я не брошу тебя. Ты не думай... – и неумело гладил его по голове, по вздрагивающим плечам.

Прошло, наверное, не менее получаса, прежде чем парень успокоился.

– Что же мне с тобой делать, пацан?.. А?.. – и вдруг решился. – Собирайся, пойдём.

– Куда? – Никитка поднял на него красные, опухшие от слёз глаза.

– В избу к Алексею Ивановичу. Ночевать. Она у него открытая настежь стоит. Неровён час... Давай, давай, поторапливайся. Не могу я тебя одного оставить... – и вдруг озлился и гаркнул, что есть силы. – Кому говорю?!.. Сопли вытри и марш за мной!.. Некогда мне с тобой, говнюком, валандаться!..

Давно бы так! От окрика Егора Никитка вздрогнул, съежился, но голосить перестал.

– Одевайся, я на крыльце погожу, – Егор никак не ожидал от себя такого слюнтяйства, а потому страшно озлился и, чтобы не выдать своего состояния, застучал деревяшкой к выходу.

На улице была темень – глаз выколи.

Егор достал кисет с махоркой и начал набивать любимую трубочку. И вдруг совсем рядом с крыльцом что-то треснуло, хлюпнуло и следом послышалось частое дыхание.

– Кто здесь? – Егор чиркнул спичкой.

– Это я... я... – в слабом дрожащем свете спичечного огонька мелькнуло лицо колхозного бухгалтера.

– Йоська?!.. – удивился Егор. – А ты что тут забыл?

– Я так... Зашёл проведать, – смутился Иосиф Бланк.

– Кого это?!..

– Естественно, что Никиту Сергеевича. Он ведь тут проживает?

– Тут... Пакостник, – Егор с досады даже сплюнул, никак не мог простить себе давишной слабости.

– И как он себя чувствует?..

– Белугой ревёт.

– Я это понимаю... У него горе... Тяжёлые переживания... Человек потерял мать. И я подумал, что в такой тяжёлый момент этого человека нельзя одного оставить. Может быть я не прав, но я подумал...

– Прав, Иосиф... Безповоротно прав. Я ведь тоже... пожалел подлеца... как и ты... Вот, веду с собой... Ночевать. Хотя, по правде... – перед глазами Егора, как живая, возникла картина порки комсомольского вожака, и он даже причмокнул от удовольствия. – Эх!.. Всыпать бы ему хорошенько по заднице ещё разок! Совсем бы не помешало!.. Ведь всё это... все несчастья наши теперешние из-за него, паскудника!..

– Он уже наказан. И очень больно. Не дай Бог, чтобы и мы так же наказаны были... Ой, не дай Бог!

Скрипнула дверь, звякнула замочная петля, и на крыльцо вышел Никитка.

– Дядя Егор, я готов.

– Ну, пошли, – Крутов фыркнул: очень уж фальшиво прозвучало в устах мальчишки "дядя Егор", но ничего не сказал и шагнул в темноту.

– Куда вы? – заволновался Иосиф Бланк. – Вам совсем в другую сторону идти надо.

– В ту самую, – успокоил его Егор. – Я сегодня не у себя ночую. За домом Алексея Ивановича приглядеть надобно. Изба его открытой стоит, не случилось бы чего.

– А можно и я с вами? – неожиданно взмолился Иосиф. – Мне одному дома совсем как-то не по себе. Ну, я вас очень-очень прошу.

– Айда, Иосиф, втроем даже как-то веселее ночь коротать, – и заковылял по раскисшей от растаявшего снега дороге. Иосиф с Никиткой поспешили за ним.

Ещё издали они увидели, что в окнах дома Алексея Ивановича горит свет.

– Так и есть!.. Чуюло моё сердце!.. Эх, жалко ружьё не взял, но кто знал!..

– Вы думаете... – начал было Иосиф, но Егор тут же оборвал его.

– Никшни! – и приложил палец к губам. – Не спугнуть бы. За мной!..

Задами, через перекопанный огород, короткими перебежками от одной низенькой яблоньки к другой, спотыкаясь, а то и падая с размаху в липкую грязь, сцепив зубы и после каждого падения смачно пуская матерком, они, наконец, добрались к избе.

Егор с трудом перевёл дух. Он запыхался и никак не мог унять раздражения: не так-то это просто в его годы, да ещё в кромешной темноте, да к тому же на деревянной ноге совершать подобный марш-бросок! Вдобавок ко всему, перелезая через плетень, он зацепился за острый сучок и порвал штаны. Дыра полупилась изрядная.

"Ну, погоди у меня!.. За всё ответишь!.. Не на того напал!.. Уж я тебе спуска не дам!.. Ворюга!.. Паразит!.."

Прислушались. В воздухе стояла звенящая тишина. Лишь где-то далеко, на другом конце деревни, брехала собака, разбуженная храпом Василь Игнатьича Щуплого, а в большую деревянную бочку, что стояла рядом с ними, монотонно капала с крыши талая вода: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп... Но главное, из дома доносились приглушённые голоса. Стало быть, воров там, по меньшей мере, двое.

Нервы всех троих напряглись до предела.

Отдышавшись, Егор заговорил свистящим шёпотом:

– Никитка, ты здесь за кустами схоронись, и, если кто из дому побежит, постарайся признать, кто такой... Ты, Иосиф Соломонович, прикрывать меня с тыла будешь. Туточки – под окнами затаись. Ну, а я... уж я как-нибудь с Божьей помощью разберусь с этой сволотой. Ну, а ежели меня... – он торопливо перекрестился, – не дай Бог, того... прибьют то есть, шумните, как следует, чтобы соседей поднять. У тебя, Никита, голос звонкий, ори, что есть силы. Договорились? – Никитка согласно кивнул. – Дислокация ясна?..

– Так точно, Егор Евсеич!.. – Иосиф был несказанно рад и горд от сознания, что сейчас примет участие в таком героическом, в таком рискованном деле – они будут ловить преступников. – Видите, и я вам зачем-то очень даже понадобился.

– С Богом!..

Расставив своих помощников по местам, Егор, стараясь не стучать деревянной ногой, поднялся на крыльцо и приник к косяку входной двери.

Было два варианта проникновения в занятый ворами дом. Первый – тихий и осторожный. Он позволял застать преступников врасплох. Второй – напротив, шумный и наглый. Этот обезпечивал внезапность и мог, если и не напугать противника, то хотя бы ошеломить. Но первый вариант был слишком рискованный: давно не мазанные дверные петли противно скрипели, к тому же разошедшиеся доски пола так же предательски отзывались на каждый неосторожный шаг. "Эх, двум смертям не бывать, одной не миновать!" – решил про себя Егор и, нарочно, громче обычного стуча протезом по деревянному полу, с криком: "Это кому тут чужое добро спокойно спать не даёт?!" – ворвался в избу.

В горнице за столом у самовара мирно сидели: председательница сельсовета Галина Ивановна и... хозяин дома Алексей Иванович Богомолов. Они спокойно беседовали и не спеша пили чай с сушками.

С открытым ртом изумлённый Егор застыл на месте.

– Добрый вечер, Егор. Что на пороге застрял?.. Проходи, не стесняйся, – пригласил нежданного гостя Алексей Иванович. – Мы тут с Галиной Ивановной чаи гоняем. Присоединяйся.

– Откуда ты?!.. Где перемазюкался так?!.. – Галина Ивановна с трудом подбирала слова. – Ты знаешь, на кого похож?..

И действительно, вид у Егора Крутова был неважнецкий. Вся одежда перепачкана, на сапог и протез налипла глина, руки и даже правая щека в грязи. Такого неряху обычно рисуют в детских книжках про Мойдодыра, как резко отрицательный персонаж.

– Неужто опять запил?..

– Я не запил... Я это... того... – ошеломлённый Егор, кажется, потерял дар речи. – Я думал... то есть решил... И вообще... я не один, нас тут много.

– А где же остальные? – поинтересовался Алексей Иванович.

– Туточки, за дверью, – он начал понемногу приходить в себя. – Я сейчас... я их сейчас кликну. – И, приоткрыв в сени дверь, прокричал наружу: – Иосиф!.. Никита!.. Всё нормально!.. Тревога отменяется!.. Отбой!

Затем обернулся, увидел удивлённые глаза Галины и Алексея Ивановича и... захохотал.

– Ну, дурак!.. Ну, учудил!.. Я ведь вас!..Ой, не могу!.. Мамочка, родная!.. Спасите!.. Я же вас, как разбойников... Голова без мозгов, что дристаж без тормозов!.. Ох-хо-хонечка моя!.. Помогите, люди добрые!.. Кончусь сейчас!..

В горницу заглянули Иосиф с Никиткой. Они никак не могли взять в толк, что тут без них произошло и только ошалело хлопали глазами.

Отсмеявшись, Егор всё рассказал: и как зашёл в избу к Новиковым и нашел на лавке плачущего Никитку, и как захватил его с собой, а по дороге встретил Иосифа, и как решил, что в богомолковский дом забрались воры, и как они втроём через огород короткими перебежками пробирались к избе, и как собирался он за руку схватить злоумышленников, и как в результате позорно опростоволосился. Тут уже пришёл черед смеяться Алексею Ивановичу и председательнице. Правда смех у них получился какой-то не очень весёлый.

– Ну что ж, милости просим, гости дорогие! – Алексей Иванович был искренне удивлён, в каком составе они пожаловали к нему. – Стало быть, и вы в этой операции участие принимали?

– Я Егора Евсеевича с тыла прикрывал, – покраснев, признался Иосиф.

– А ты, Никита Сергеевич, наверное, в засаде сидел?

Никитка затравленно, изподлобья посмотрел на хозяина дома. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке.

– Ничего подобного, нигде я не сидел...

Но членораздельно объяснить, как он попал в дом своего заклятого врага, так и не смог.

– Меня Егор Евсеевич... Он меня с собой прихватил, чтобы, значит, я... у вас... сегодня переночевал...

– А ведь он прав, Никита. Нельзя тебя сейчас одного оставлять. Мне Галина Ивановна всё рассказала. Крепись, парень, и надежду не теряй. Не знаю почему, но кажется мне, жива твоя мать.

– Я ему то же самое говорю. Не верит, – Егор сокрушённо вздохнул.

– Ладно, топайте в сени, герои, – Алексей Иванович был явно тронут заботой Егора о сохранности его имущества. – Сначала умойтесь, а я пока соображу, во что вас переодеть, – и вдруг предложил. – А может, баньку истопить? А?.. Хорошего пара, конечно, не полупитя, но через часок, а то и раньше горячая вода будет, – и не дожидаясь ответа, скомандовал: – Никита Сергеевич, хватай вёдра и марш по воду!

Часа через полтора, помывшись, они вышли в предбанник. На лавках лежала сухая чистая одежда, Галина собрала на стол кое-какую закуску, а Алексей Иванович, изменив своим строгим правилам, поставил початую бутылку самогона.

– А ведь я всегда знал, у такого человека, как ты, значка всенепременно должна быть, – Егор потирал руки от удовольствия и радовался, как ребёнок. Сегодняшний вечер, начавшись с позорного конфуза, судя по всему, обещал впереди немало приятных сюрпризов.

– Вы тут выпивайте, закусывайте, а я пойду постираю, – председательница собрала сваленную в угол грязную одежду и пошла в баню.

– Галина Ивановна, напрасно вы так беспокоитесь, – попробовал возразить Иосиф, но дверь за ней уже закрылась.

– Ну, мужики, – Егор разлил самогон по стаканам. – За твоё счастливое освобождение, Лексей!.. Я грешным делом решил, замели тебя, как тогда в пятьдесят втором. Слава Богу, ошибся... Будем!.. – он чокнулся со всеми подряд, залпом опрокинул в себя стакан, но не поморщился, а уважительно спросил: – Анисьино производство? – Алексей Иванович подтвердил. – Качественный продукт по одному запаху признать можно, – в области самогонварения Егор был крупным специалистом. Ещё бы! За свою жизнь он перепробовал все сорта местного самогона и теперь, как профессионал-дегустатор, мог безошибочно определить изготовителя.

Закусив щепотью квашеной капусты, Егор достал кисет с махоркой, любимую трубочку, устроился поудобней и приготовился слушать.

– Рассказывай, Лексей, всё по порядку. Чего они от тебя хотели?

И, хотя Алексей Иванович уже рассказывал сегодня о своих злоключениях Галине и вспоминать о них ему вовсе не хотелось, отказать героической троице в её законом праве тоже узнать подробности своего краткосрочного ареста не мог, потому что понимал, это было не просто праздное любопытство посторонних, а живое участие близких людей в его судьбе.

Он вздохнул и начал свою горестную повесть во второй раз.

Зажатый на заднем сиденье "Победы" с одной стороны майором милиции, а с другой – человеком из "органов", Алексей Иванович всю дорогу до райцентра гадал, какой противоправный поступок мог совершить такой тихий и набожный человек, как Иван. Хотя и понимал: в нашей стране противоправным деянием может стать всё, что угодно. Даже обыкновенный чих в неподходящий момент в не подходящем для этого месте.

В райцентре Алексея первым делом доставили в отделение милиции и поместили в камеру предварительного заключения. Здесь он уже бывал, когда вместе с отцом Серафимом его арестовали за "антисоветскую агитацию и пропаганду", так что впечатление было такое, будто вернулся он в давно знакомые, обжитые места: те же дощатые нары, те же стены, наполовину выкрашенные синей масляной краской, а на них те же знакомые надписи, изрядно расцвеченные ненормативной лексикой. А как же иначе?!.. Любят наши граждане оставлять свои автографы на самых видных местах. Более всего для этого пригодны памятники архитектуры, монументы, дощатые и оштукатуренные заборы, стены общественных туалетов. А уж в местах вынужденного заключения, как говорится, сам Бог велел. Борьба за всеобщую грамотность принесла-таки свои плоды.

Вины за собой Алексей не чувствовал никакой, сажать в кутузку его было не за что, а посему отнесся он к лишению свободы спокойно и даже философски. Пока его не трогали, он мог привести в порядок свои мысли и чувства. А они у церковного старосты были в полном раздрызге. Во-первых, закрытие храма произвело на него ошеломляющее впечатление. В душе он не соглашался, протестовал, никак не мог поверить, хотя сам отдал в руки Коломийца ключи от церкви. Во-вторых, судьба Ивана была для него не безразлична, и он, теряясь в догадках, мучительно вспоминал подробности всех разговоров с ним, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, какой-нибудь намёк, чтобы понять, в чём провинился тот перед законом, но... безуспешно.

В конце концов, Алексей решил помалкивать. К тому же он на самом деле не знал про своего постояльца практически ничего. Одно только, что тот старца Антония навестить

собрался, но сообщать посторонним об этом совсем не обязательно. Так что и врать-то, в сущности, не придётся. Да, скрытным человеком был странник Иван, умудрился все подробности жизни своей утаить.

Промурыжили Алексея в камере больше часа.

Очевидно, рассчитывали, что в ожидании допроса он начнёт волноваться, нервничать, а там, глядишь, неуверенность появится, страх... Старый приём. "Это мы в пятьдесят втором уже проходили, " – усмехнулся Алексей, расстелил на нарах пальто и завалился спать.

Но поспать вволю не удалось. И часа не прошло, отвели Алексея Ивановича в кабинет, где его уже ждал человек без имени с колючим ржим бобрим на голове.

– Проходите, Алексей Иванович, садитесь, – он встретил арестованного как родного. – Простите, что ждать вас заставили, но сами понять должны – столько дел!.. Вы только, ради Бога, не сердитесь.

– Да я не сержусь, – Алексей Иванович был сбит с толку.

– Я вам давеча не представился и, честно скажу, как-то неловко себя чувствую: я ваше имя-отчество знаю, а вы моё – нет... Так давайте мы с вами сейчас эту несправедливость исправим, – и широким жестом протянул собеседнику белую холёную руку с розовыми блестящими ногтями. – Майор госбезопасности Семивёрстов Тимофей Васильевич.

Не очень понимая, как себя вести, Алексей Иванович молча пожал протянутую руку.

– Ну, я вас слушаю, – капитан улыбнулся и, склонив голову набок, ласково посмотрел на него.

Алексей Иванович опешил. Он ждал каверзных вопросов, ловушек, к этому он был готов, а тут получалось, что инициатива разговора должна принадлежать ему.

– Я, собственно, не очень понимаю, что вы хотите от меня услышать.

– Правду, Алексей Иванович, и только правду.

– Какую правду?.. О чём?..

– О ком, Алексей Иванович... "О ком", – поправил его Семивёрстов. – А если конкретно, то о вашем давишнем постояльце.

– Да я, собственно, не знаю его совсем...

– Никогда не считайте других глупее себя, Алексей Иванович. Неровён час сами в дураках окажетесь. Неужели вы думаете, я поверю, будто вы впустили к себе в дом человека с улицы, совершенно вам незнакомого?.. Не будьте так наивны, не считайте меня круглым идиотом.

– Но это правда!

– Я полагал, вы трезвый, разумный человек, Алексей Иванович, а вы, как нашкодивший первоклашка, отрицаете очевидное. Ну, подумайте сами, как может случиться такое, чтобы в Дальние Ключи неизвестно откуда явился никому неизвестный человек, неизвестно каким образом настолько обаял вас, что вы, не поинтересовавшись, кто он и что он, предоставили ему кров, а затем с миром отпустили. Опять же в неизвестном направлении. Что-то у нас с вами концы с концами не сходятся. Вам так не кажется?..

– Согласен, это может показаться странным, но он, действительно, произвёл на меня очень приятное впечатление, и я... доверился ему.

– Очень интересно. О-о-очень!.. Вы хотя бы, как вашего постояльца звали, помните?

– Помню, конечно... Иван Иванович.

Семивёрстов захохотал.

– А фамилия у Ивана Ивановича случайно не Иванов была?

– Вот фамилию я, к сожалению, забыл у него спросить... Вполне возможно, что Иванов, – согласился Алексей Иванович.

– Хватит Ваньку валять! – майор что есть силы шарахнул кулаком по столу. – Ты за кого меня принимаешь?!.. – и куда только девалась его прежняя приветливость?.. Исчезла и следа

не оставила. – Решил шутки со мной шутить?!.. Думаешь, я из Москвы в эту дыру развлекаться приехал?!.. Да я тебя под статью подведу!.. Ты меня на весь свой срок запомнишь! – Семивёрстов орал, брызгал слюной, жилы на шее у него вздулись, казалось, он вот-вот лопнет от натуги и злобы.

Богомолу стало скучно.

– Вы, пожалуйста, не орите на меня, гражданин начальник, я вам в отцы гожусь. Хотите обвинение предъявить? Предъявляйте. Только, чур, по всей форме, официально, так сказать. А глотку драть я тоже могу.

На этот раз опешил "гражданин начальник". Он привык видеть перед собой дрожащих, насмерть перепуганных людей, а тут... Не хотелось об этом вспоминать, но вдруг опять всплыл в его цепкой памяти один очень тухлый эпизод из его довольно успешной карьеры: тридцать восьмой год, Лубянка и упрямый красавец комбриг, который загнал молодого, но уже немало повидавшего за восемь лет работы в органах лейтенанта в тупик. Никогда, ни до, ни после, не чувствовал он себя таким беспомощным. Но тот был первым и, как казалось Семивёрстову, единственным.

Ничего подобного. Похоже, этот второй.

– Хорошо, – неожиданно согласился Семивёрстов. – Хотите официально?!.. Что ж, давайте, – сильный противник невольно вызывал у него уважение.

Он взял папку, лежавшую перед ним, немного помедлил, как бы взвесив её в своих руках, и только потом передал через стол Алексею Ивановичу.

– Вот, взгляните... Прелюбопытнейший документ.

Алексей Иванович взглянул и... ахнул. Он держал в руках уголовное дело, заведённое на Безродного Владимира Александровича, тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения, русского, из мещан. А с фотографии, что была наклеена на первой странице, на него смотрело знакомое лицо. Сомнений быть не могло – Иван!.. Но почему Безродный?!.. Почему Владимир?!..

Поражённый, Богомолу поднял глаза на следователя.

– Узнали? – поинтересовался тот. – Не удивляйтесь. Да, да, это он самый, ваш квартирант. Но вы читайте... Читайте дальше... Интересно будет в конце ваше впечатление узнать. Очень интересно.

Алексей Иванович пододвинулся поближе к столу и, подперев голову руками, стал читать.

С первых же страниц его не покидало ощущение какой-то ирреальности того, что открывалось перед его глазами. Нет, всё было тщательно оформлено, всё подтверждалось и свидетельскими показаниями, и фотографиями с места преступления, и следственным экспериментом, и даже признаниями соучастника, но всё же... Всё же!.. Не мог человек, которого знал Алексей, совершить такое злодейство. Да, он знал Ивана всего несколько дней, но за это короткое время успел проникнуться к нему не просто симпатией. Тот стал для него другом, к которому испытывал он душевную привязанность, если не сказать больше... Может быть, Владимир Безродный и в состоянии пойти на такое, но только не Иван. Иван мухи не обидит. Ну, и что, что Никитку Новикова выпорол?!.. Так то за дело. И в наказание, и в назидание. Но чтобы убить?!.. Нет... Нет!.. Не мог Алексей примириться с этой мыслью. Ведь не оборотень же он, в конце концов!..

Чтение отняло у него около получаса, и когда он, наконец, закрыл папку, ему понадобилось ещё какое-то время, чтобы перевести дух и прийти в себя.

– Что скажете?!.. – довольный Тимофей Семивёрстов не торопился. Улыбаясь, он сочувственно смотрел на потрясённого, потерявшегося Богомолу. – Неправда ли занимательное чтение?!.. Что молчите, Алексей Иванович?..

А что тот мог ему ответить? Занимательности в этом деле не было никакой, а что до подлинности всего прочитанного... Где-то на самом доньшке его сознания шевелилась хилая мыслишка: "Что-то здесь не так. Не так..." Интуитивно, восьмым, девятым чувством он угадывал во всём этом какой-то подвох, что-то ненастоящее.

Он ещё раз пристально посмотрел на капитана, ничего не ответил, а только тяжело, сокрушённо вздохнул.

После этого Семивёрстов ещё часа два "работал с подследственным". Пытаясь уличить его во лжи, задавал неожиданные каверзные вопросы, был то необыкновенно мягок и ласков, а то суров и даже гневлив. Но добиться чего-либо путного от растерянного, измученного Алексея Ивановича так и не смог.

Убедившись, что тот не лжёт и ничего не скрывает, капитан вдруг как-то сразу поскуцнел, а на прощанье глубокомысленно изрёк:

– Не советую так опрометчиво доверяться незнакомым людям, товарищ Богомолов. Какой-нибудь беглый монах-проходимец, вроде этого Безродного, постояльца вашего, и под монастырь подвести может, – он не собирался шутить, но, как ему показалось, сама собой получилась острота, которая ему очень понравилась, и он от души рассмеялся.

– Хотя, чему он смеялся, я так и не понял, – признался Алексей Иванович и замолчал.

В предбаннике было тихо. Трубочка у Егора давно погасла, но он не вынимал её изо рта, сидел неподвижно, уставившись в одну точку, пытаясь переварить только что услышанное.

Первым нарушил молчание Иосиф:

– А кого он убил, вам не сказали?

– Сказали... Майора КГБ.

Егор аж присвистнул:

– Вот это да!.. Ясно теперь, отчего это знакомец наш в бега ударился. Такое, по моим понятиям, на "вышку" тянет.

– Постойте!.. – всполошился Иосиф. – А откуда они узнали, что он... ну, что этот самый... гражданин Безродный был у нас в Дальних Ключах?..

– Проще-простого. Нашёлся доброхот и сообщил о том, куда следует. В письменной форме.

– Понятно, – брезгливо поморщился Егор. – Донос?..

– Да нет, заявление. А впрочем, называй, как хочешь.

– А ты читал? – поинтересовался Егор.

– Читал.

– И кто же его накалал?.. Или, как говорится, писатель оказался скромником и захотел остаться в неизвестности?

– Какая разница, кто? Разве в этом дело? – не хотелось Алексею Ивановичу на эту тему разговор продолжать.

– Существенная разница, – не унимался Егор. – Народ должен знать своих "героев". В лицо.

– Я написал, – тихо, но внятно произнёс из своего угла Никитка. – Доволен теперь?

– Вполне, – казалось, Егор и не удивился вовсе, словно заранее знал, кому принадлежит авторство. – Слушай, Никита Сергеевич!.. Поросычья твоя душа!.. Когда ты, наконец, уймёшься?.. А?.. Скоро ли шкодничать перестанешь?.. Глянь, от горшка два вершка, кажись, прихлопни чуток и одно мокрое место останется, а сколько от тебя всякого неудобства происходит, сколько пакостей ты натворил!.. Сам-то понимаешь это?.. Сам-то осознаёшь, какая ты гнида, Никитка?!..

Тот ответить не успел. С улицы донёлся хриплый раздражённый бас: "Куда подевались все?!.. Есть тут кто живой?!.." По ступенькам загромыхали тяжёлые шаги, дверь с треском распахнулась, и на пороге вырос Герасим Седых.

Но в каком виде!..

На председателя колхоза было страшно смотреть. Перемазанная глиной шинель нараспашку, без шапки, волосы всклокочены, на лбу кровавая ссадина, воспалённые красные глаза налились болью и гневом, в обеих руках по бутылке водки. Картина!

Герасим Тимофеевич был зверски пьян.

– Мир честной компании! – нетвёрдой походкой на плохо гнушихся ногах он подошёл к столу, грохнул на столешницу обе поллитровки и, сбросив на пол шинель, с размаху рухнул на лавку. – Извиняюсь, конечно, за вторжение, но вы мне все... Я с вами... То есть вы со мной... сейчас будете... пить!.. Ясно?!.. И чтобы никаких возражений!.. Не потерплю!.. – и шарахнул здоровенным кулаком по столу. В дверях парной показалось испуганное лицо Галины. – Ба, ба, ба!.. Красавица!.. И ты тут?!.. Очень даже кстати!.. Замечательно!.. Очень даже!.. А ну-ка, иди ко мне... Фу ты, ну ты!.. Да не строй ты из себя недотрогу... партийный секретарь!.. Именно ты мне... сейчас нужна позарез!.. – он попытался разлить водку по стаканам, но руки у него ходили ходуном, и половину он просто расплескал на стол.

– Герасим!.. Что с тобой?!.. Ведь ты не пил никогда!.. Что стряслось?!.. – Галина с изумлением смотрела на его трясущиеся руки.

– Держи!.. – он протянул ей стакан, шатаясь, встал. – Держи, говорю!.. Эх!.. Галка, Галочка, Галина!.. Хорошая ты баба!.. Очень!.. И красивая, и вообще... всё такое!.. А вот большевичка из тебя вышла... Хреновая!.. А знаешь, почему?.. Потому что ты – баба!.. Коммунист, он что?.. Железным должен быть! Или на худой конец... непере... нескло... неуклонным!.. Во!.. А у тебя... по твоему бабьему свойству жалости слишком много. Ты пойми и учти!.. На будущее... Я же тебе добра желаю... Именно за эту бабью хлипкость твою тебе на бюро... выговор вкатили!.. Правда, без занесения... Пока... Счас я тебе выписку из протокола покажу, – он пошарил по карманам и извлёк на свет сильно измятую бумажку. – Вот! Гляди... Можешь удое... вериться... А меня... Меня!.. – глаза его наполнились слезами, он ударил кулаком себя в грудь, чтобы унять непереносимую боль, и прохрипел. – Меня из партии... выгнали... Вон выгнали!.. Совсем!.. За что?!.. Вы мне можете сказать?!.. А?.. За что?.. Меня... из моей партии... из родимой... – и вдруг заплакал жалобно-жалобно, как маленький, хлюпая носом и пуская пузыри.

13

На привокзальном рынке Ворохты было шумно и многолюдно. К приходу московского поезда местное "купечество" собиралось на площади заблаговременно, чтобы занять самые удобные, самые выгодные для торговли места. Состояло оно в основном из бойких деловых бабёнок средних лет и несчастных бабулек, выносивших на продажу из дому последнее, чтобы хоть как-то перебиться и ноги до пенсии не протянуть. А она, пенсия эта, – смех один. Редко, у кого больше двухсот восьмидесяти рублей, а у иных и того не было. Попадались тут, конечно, и лица мужественного пола, но редко.

И чем тут только не торговали!

Смешение стилей, предметов и даже эпох!

Рядом с зингеровской швейной машинкой, которую продавала высокая худая старуха из "недобитых", краснощёкая кустодиевская баба с необхватным бюстом тонким визгливым голосом предлагала на выбор: "Пирожки с ливером!.. Горячие!.. С пылу, с жару, как с пожару!.. Шанежки с повидлом яблочным!.. Налетай, не зевай!.." У ног белого как лунь деда стоял чудом сохранившийся ещё с дореволюционной поры граммофон, из гигантской трубы которого Клавдия Шульженко не своим голосом пела про "синенький скромный платочек". А бок о бок с дедом молодой вихрастый парень без обеих ног, сидя на самодельной тележке, играл на трёхрядке "Вальс-бостон" и попутно торговал стаканами махру и россыпью папиросы "Север" сомнительного производства. "Молочко козье!.. Ото всех болезней полезное!.. Дарит людям здоровье железное!.." – тощая жилистая старуха, сама чем-то напоминавшая свою козу, старалась перекричать чёрную, сильно смахивающую на галку молодую женщину, которая низким, почти мужским баритоном обещала "снять порчу, сглаз, вернуть мужа, наказать разлучницу".

Павел Петрович растерялся. В своём отлучении от мирской жизни он вообще отвык от шума и суеты, приспособился жить спокойно, не торопясь, поэтому всё это шумногласное многолюдье ошеломило его. Он стоял посреди кипящего вокруг него базара и, казалось, забыл, зачем сюда пришёл.

– Товарищ генерал, у нас всего десять минут осталось, – за то время, пока Павел Петрович приходил в себя, Влад успел сторговать у кустодиевской бабы пирожки со скидкой, раздобыл свой любимый "Памир" и теперь, довольный собой, торопил своего попутчика.

– Честно говоря, не знаю, что выбрать... Тут столько всего!..

– А я знаю, – Влад взял инициативу в свои руки. – У нас зима на носу. Так?.. Так. Стало быть, рекомендую преподнести Макаровне самый подходящий для такого случая подарок – тёплый платок, лучше пуховый, или шаль. Согласны? – Павел Петрович кивнул. – Тогда, за мной!.. Я тут одну тётку приметил. Именно то, что нам надо.

У ног Владимира Ильича Ленина, что возвышался посреди привокзальной площади и с грустью смотрел своими бронзовым взором на кишачий внизу человеческий муравейник, одиноко стояла седая усталая женщина и, безучастная ко всему вокруг, молча протягивала на раскрытых руках большой серый платок. Глядя себе под ноги, она думала какую-то свою очень невесёлую думу, а платок продавала так... между прочим.

– Мамаша!., – взглядом знатока Влад оценил предлагаемый товар. – Козий пух?

– Козий.

– Почём?

– Сколько дашь, – похоже, ей было всё равно. Предложи десятку, она без звука отдаст.

– Двести рублей хватит? – Павел Петрович достал из кармана деньги.

– Товарищ генерал, это как-то... даже слишком!.. – попробовал остановить его Влад.

– Куда так много, мил человек?.. – испугалась женщина.

– Значит, хватит, – Павел Петрович почти силой всучил ей две сторублёвки и, взяв платок, коротко бросил своему попутчику. – Спасибо, Владислав Андреевич. Пошли.

И они направились к платформе, но, если бы обернулись, то увидели, что женщина так и застыла с деньгами в руках, в своей неподвижности очень напоминая фигуру Ильича, бронзовевшего над её головой. Она – удивлённая, благодарная, счастливая. Он – мудрый и потерянный.

Павлик лежал на верхней полке, вытянув вдоль неподвижного тела большие сильные руки и закинув назад забинтованную голову. Авдотья Макаровна сидела внизу, под ним, и неторопливо, но отчётливо и даже "с выражением" читала раскрытую на столе книгу.

"... Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства Красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка..." – она остановилась и вопросительно посмотрела на вошедших Влада и Павла Петровича, но последний дал ей знак, чтобы она продолжала.

– Мама, это кто пришёл?

– Соседи наши, сынок. Ты не спишь?

– Не сплю.

– Так мне дальше читать?

– Читайте, если не устали...

Авдотья Макаровна вздохнула, и опять негромко зазвучал её голос, повествующий невесёлой история волка, которого звали Белый Клык.

Павел Петрович сидел с купленным платком в руках и никак не мог сообразить, какой момент улучшить, чтобы избавиться от него. Специально прерывать чтение казалось ему неудобным. Долго ждать тоже было неловко: пожилой мужчина с женским платком на коленях выглядел не очень солидно.

И тут ему подумалось о том, как все мы подвержены влиянию нелепых пустых предрассудков. Ну, что стоит войти в купе и просто сказать: "Авдотья Макаровна, спасибо вам за то, что так вкусно накормили. Позвольте на память..." И тут Павел Петрович опять призадумался. А как дальше? "Вручить" – слишком официально. Ведь платок, пусть даже пуховый, не орден и не медаль, а мы ещё с детства приучены: у нас "вручают" только правительственные награды. "Дать" – глупо. Как бы тебе самому по шее не надавали... "Преподнести" – ещё глупее. Ты – не принц, а Макаровна – не инфанта. "Подарить" – очень нужны этой несчастной женщине твои подарки. Тоже мне благодетель нашёлся!.. Да, задачка! Он невесело усмехнулся. Хоть и богат русский язык, но порой и в нём, ох, как трудно, найти нужное слово. Вот и сиди, и ломай себе голову.

– "... жизнь стала для него адом... Он не мог сидеть взаперти. А ему приходилось терпеть неволю..." – эти слова Джека Лондона внезапно вырвались из общего потока повествования и заставили его даже вздрогнуть от неожиданности.

Вот оно! В самое яблочко!..

Ну, конечно, неволю можно только терпеть. С ней нельзя бороться, нельзя восставать на неё, ибо всякий бунт непременно кончается крахом!.. Нетерпеливый человек невольно уничтожает самого себя. "Терпеть... терпеть!.." И Павел Петрович, наконец-то, определил самый главный урок, который вынес на волю из своего заточения.

Неволя приучила его терпеть!

"Умей нести свой крест и веруй!.."

Кто сказал эти слова?.. Кажется, Чехов... Или Лев Толстой?.. Неважно, кто сказал, важно, что в самую точку. И ему стало легко. Теперь он уже не боялся разговора с несчастной матерью и её покалеченным сыном. Теперь он знал, что сказать им.

– Спасибо, мама, – голос Павлика с верхней полки прервал чтение. – Я устал. Давайте перерыв сделаем.

– Устал?.. Ну, полежи, подремли маленько, – Макаровна отложила в сторону книжку.

– А я – в тамбур, – Влад раскрыл новенькую пачку "Памира", только что купленную на базаре и протянул Павлу Петровичу. – Не желаете?

– Я не курю, Владислав Андреевич, и вам не советую.

– Непременно вашим советом воспользуюсь, товарищ генерал. Но, извиняюсь, не сейчас, позже, – и вышел в коридор, осторожно, без стука прикрыв за собой дверь купе.

– Деликатный человек, воспитанный, хотя тоже сидел, бедняга, – Макаровна перешла на шёпот. – И добрый... Это он нам с Павликом билеты в купейный вагон купил. Мы в плацкартном собирались, по нашим средствам, как все люди, а он даже слушать не стал. Загодя билеты купил, ну и... не выбрасывать же их? – робко спросила и, перекрестившись, прибавила: – Дай Бог ему здоровья!..

– Он добро не только вам сделал, – возразил ей Павел Петрович.

– А кому ещё?.. Ты-то откуда знаешь?!..

– Он прежде всего для себя постарался. Подарки дарить – не только удовольствие, но и необходимость. Когда отдаёшь, сам лучше становишься. Верно говорю?

– Это точно. На то мы и люди, чтобы соседям своим хорошее делать, – и, кивнув на платок, что лежал на коленях у Троицкого, деликатно поинтересовалась. – А это ты в подарок жене купил?

– Одобряете?

– Хороший платок. Тёплый.

– Да нет, не жене, – решил, наконец, Павел. – Я даже не знаю, где она, жива ли... Восемнадцать лет никаких вестей от неё не имел.

– Это я ещё давеча понял, что и ты на зоне сидел. На вас на всех, как тавро на скотине, особая печать стоит. Я иной раз даже удивляюсь, сколько разного народа у нас по тюрьмам да лагерям мыкалось!.. Не верится как-то, что вокруг столько разбойного люда было. Тебя-то как?.. За дело или зря?

– Раз реабилитировали, выходит, зря.

– Ну и, слава Богу! – и вдруг спохватилась. – Но ты не думай, я не в том смысле...

– Я понял в каком, Авдотья Макаровна, не волнуйтесь, – успокоил Павел Петрович.

– Но чего так долго?.. У нас, вроде, и срока такого нет, чтобы восемнадцать?..

– Всё у нас есть. И восемнадцать, и двадцать пять, и поболее того... А платок я вам купил... На память... Может, когда вспомните добрым словом, – и он протянул ей свой подарок.

Щёки Авдотьи Макаровны вспыхнули алым румянцем, как у девушки, и она замахала на него руками.

– Да за что это мне?!.. И не возьму!.. Ишь, чего удумал!..

– Да я от чистого сердца! – взмолился Павел Петрович. – Сами только что сказали, "надо и другим хорошее делать". Ведь сказали?..

– Мало ли чего невзначай скажется...

– А слово – не воробей. За него отвечать надо.

– Ишь!.. Умный какой! – Макаровна начала сдаваться. – Ты-то за свои слова всегда ответ держишь?

– Стараюсь, – Павел Петрович понял, победа его близка: ещё немного и Авдотья Макаровна сдастся окончательно.

– Это ты где же?.. В Ворохте на базаре купил?..

– Там, – и он осторожно укутал её плечи пушистым платком.

Она засмушалась, кокетливо повела плечами и, осторожно погладив жёсткой натруженной рукой козий пух, тихо сказала: – Мягенький какой!.. Нежный...

Павел Петрович был счастлив.

В купе тихонько постучали, дверь осторожно приоткрылась, и в щёлочке показалось курносое лицо Нюры-проводницы...

– Можно к вам?

– Заходи, доченька, заходи, – Макаровна подвинулась, приглашая её войти. – Токо ты тихонечко, а то Павлик у нас задремал.

– А я не одна, мы с подружкой. Позвольте? – зашептала Нюра и, уже войдя в купе, церемонно представила. – Вот, знакомьтесь, Людмила... из пятого вагона... Мы с ней как бы... коллеги... то есть работаем вместе, – и засмушалась.

Людмила оказалась маленькой шуплой девчонкой из тех, кого в народе зовут "пацанка". Сразу отбросив всякую церемонность, она тут же заявила.

– Будем чай с мёдом пить!.. Надеюсь, не возражаете?.. У моего деда пасека на весь район знаменитая!.. И мёд у него всамделешный, а не то чтобы патока, каким жульё на базаре торгует. Вот, полюбуйте! – и выставила на стол три полных банки. – Урожай нынешнего года... Это луговой... это гречишный... а этот липовый... Кому какой больше нравится... Нюрка!.. Тащи чай!.. Без сахара!..

Та пулей вылетела в коридор.

– Ну, про вас, товарищ генерал, я всё давным-давно знаю, Нюрка вчера мне все уши прожужжала, полночи рассказывала. А вот с новыми соседями вашими мы по ходу дела познакомимся. Так сказать, в процессе... Про себя одно скажу: ничем выдающимся, кроме мёда, я не отличаюсь. Да и тот не мой, а дедов... Прошу без церемоний.

Прокуренный до самой макушки в купе вернулся Влад.

– Батюшки!.. Какие люди к нам пожаловали! Сюрприз!.. – и, щёлкнув каблуками, галантно заявил: – Владислав Андреевич... Для своих можно запросто – Влад.

– Это где же здесь свои? – поинтересовалась Людмила. – Я что ли?.. Тогда и вы, товарищ Влад, зовите меня попросту Людмила Степанна.

Влад расхохотался. Подруга Нюры ему явно понравилась, и он разошёлся ещё больше:

– Мадам!.. А как ваша фамилия, позвольте узнать?..

– Много будешь знать, скоро на пенсию отправишься, – съязвила Людмила.

– Тихо ты, окаянный!.. Павлика разбудишь!..

– Я не сплю, мама, – раздался с верхней полки негромкий голос.

– А раз не спите, спускайтесь к нам, дорогой товарищ. Вас, я слышала, Павлом зовут?.. Спускайтесь, не стесняйтесь. Будем чай с дедовским мёдом гонять, – Людмила была из породы тех людей, которые легко и непринуждённо чувствуют себя в любой компании с любыми людьми. – Вы мёд любите?.. Или, как мне один грузин говорил: "Кушат лублу, а так – нэт!.." – она сказала это с настоящим грузинским акцентом, да так ловко, что все в купе рассмеялись. Даже Павел.

– Давай, я тебе помогу, сынок.

– И думать не смейте! – похоже, Людмилке нравилось командовать и распоряжаться. – Что он, маленький, что ли?.. А ну-ка, Павел, не знаю, как по батюшке, вспомнили уроки физкультуры в школе!.. А конкретно – гимнастический снаряд брусья. Сделали упор двумя руками на обе полочки, а теперь легонечко соскользнули вниз. Молодцом!.. А вы, мамаша, помогать ему собрались!.. Да он сам кого угодно этой нехитрой науке обучит!..

В купе со стаканами чая в руках вернулась Нюра.

– Я сейчас и блюдечки для мёда принесу. Я быстро! – и опять убежала.

– Сволочная работа, – глядя ей вслед, сочувственно проговорил Влад. – Весь день на ногах!.. И всё бегом...

– Почему сволочная? И ничего подобного, – обиделась за свою профессию Людмила. – Столько разного интересного народа за один рейс повстречаешь!.. Вас, к примеру. Вот вы не знаете, а говорите... – и кокетливо повела плечами.

– Это я-то не знаю?!.. – не унимался тот. – А сколько алкашей и разного сброда?!.. Неужто не попадались ещё?!..

– Не без этого, конечно, – согласилась Людмила. – Но, если хотите знать, товарищ Влад, хороших, порядочных людей на свете гораздо больше, чем дурных. У меня, по крайней мере, такая арифметика получается. Главное, кого захотеть увидеть: подонка подзаборного или кого стоящего. Думаете, в розовых очках хожу или на всё плохое глаза закрываю?!.. Вовсе нет!.. Просто мне интересней что-то новое узнать, на мир глазами умного человека поглядеть и что-то для себя открыть... Неведомое!.. Доселе неизвестное!.. Посмотрите, сколько красоты кругом!.. – она даже зажмурилась от удовольствия. – Смешная я, да?!.. Ну, и пусть!.. Для кого-то, очень умного, может, и любопытно в чужой грязи поковыряться, а для меня, дуры, – нет!.. Увольте. Я чистоту люблю.

Запахавшись, вернулась Нюра, поставила блюдечки на стол и присела с краешка у двери.

– Ну, вот... всё у нас в порядке... Теперь, кажется, можно чай пить...

– Минуточку внимания! – Людмила принялась открывать банки. – Как чай с мёдом надо пить, знаете? Не знаете, потому как это – целая наука. Меня лично дед учил. А он в этом деле самый настоящий профессор. Так что, дорогие товарищи, не будем торопиться и прослушаем краткую инструкцию, – невооружённым глазом было видно, какое удовольствие она получала, находясь в центре всеобщего внимания. – Те, кто мёд полными ложками в рот отправляет, достойны самого глубокого сострадания. Они его настоящего вкуса никогда не почувствуют. Для них мёд – это как бы... заменитель сахара... Он им для сладости только... Совсем не так надо. Возьмите мёд на самый кончик ложечки, положите в рот и чуточку подождите, пока он сам по себе у вас во рту растает... И уж только после этого чай пить принимайтесь. Но опять же малюсенькими глоточками, чтобы разом весь аромат, весь самый главный вкус мёда не смыть!.. И увидите, дорогие товарищи, после такого чаепития целый день и вкус, и запах медовый слышать будете... Я понятно объяснила?.. Тогда приступаем!..

Из открытых банок потянуло луговым разнотравьем, терпким запахом цветущей гречихи и сладковатым, кружащим голову липовым цветом. И эти запахи Павел Петрович забыл за долгие годы свой отсидки... Из каких, оказывается, на первый взгляд, пустяков, из каких мелочей складывается жизнь человеческая!.. И в ту же секунду он так ясно, так отчётливо понял, что он забыл не только эти запахи и вкус настоящего мёда, но ещё многое-многое другое и что ко всему этому ему предстоит заново привыкать... И вдруг стало очень обидно и захотелось пожалеть самого себя.

– Жалеть себя, самое последнее дело!..

Павел Петрович даже вздрогнул от неожиданности. Как это Людмила смогла угадать его мысли?..

А та, наслаждаясь впечатлением, какое производила на пассажиров её осведомлённость в медовой науке да и само угощение – дедовский мёд, продолжила:

– Дед мой, Артём Ефремыч, ещё в империалистическую глаза лишился, а после Гражданской у него на левой руке всего три пальца осталось. А ведь он тогда ещё совсем молодым человеком был. Ему в двадцатом, когда мамка моя родилась, всего двадцать четыре годочка стукнуло. И вдруг бац! – инвалид!.. Так что вы думаете?.. Дедуля мой помирать собрался?.. Как бы не так!.. Он, такой покалеченный, одноглазый, во-первых, женил-с я... И в жёны себе не какую-то завалиющую девку-однодневку, а первую красавицу на селе взял!.. А во-вторых, шестерых отпрысков на свет Божий произвёл! Один другого краше!..

Влад тихонько присвистнул:

– Ты, Людмила, сочинять-то сочиняй, но меру всё-таки знать надо.

И в самом деле, глядя на Людмилку, как-то не очень верилось, что мать у неё была необыкновенной красавицей, но это её ничуть не смущало.

– Вы, товарищ Влад, не смотрите, что я ростом не вышла. Это я в отца такая. А мамка у меня – ого-го!.. Раскрасавица!.. Таких ещё поискать надо!..

Влад был великодушен:

– Валяй, ври дальше...

– погоди! – оборвала его Макаровна. – Не любо, не слушай. Ты, красавица, не смущайся.

Однако, похоже, смутить "красавицу" было не так-то просто.

– Так вот, дед мой за всю свою корявую жизнь ни разу никому не пожалился, ни разу ни у кого милостыни не попросил. Не-а, всё сам... Всё сам!.. – она с гордостью оглядел всех, мол, знай наших!.. – И даже теперь... ведь почти не видит ничего, а никак успокоиться не может: всё хочется ему ещё кому-нибудь радость подарить!.. Пусть через мёд, но какая разница через что? Главное, не зря человек на этой земле проживает!..

– Дай Бог ему здоровья! – Макаровна перекрестилась и, вздохнув, с тревогой посмотрела на сына. – Стойкий человек твой дед, Людмила. Не каждый на такое способен.

Павлик осторожно поставил свой стакан с чаем на стол.

– Когда у человека одного глаза нет, это ещё ничего... Можно пережить. Пусть плохо, но этим-то глазом он всё же видит. А когда полный мрак?.. Как тогда?.. – он говорил безразлично, не торопясь, и от его тихого спокойного голоса становилось как-то особенно неуютно на душе Людмилка не сдавалась:

– Ты что думаешь, один такой?!.. Знаешь, сколько народу покалеченного с войны домой вернулось!.. И безногие, и безрукие, и слепые тоже!.. И что?!.. Всем им в братскую могилу укладываться нужно было?!.. Так по-твоему получается?..

Павел слабо усмехнулся:

– Чтобы понять, надо самому испытать, что значит, когда, вместо света, ночь перед глазами. А все твои рассуждения, зря или нет человек живёт на этой земле, так... пустые, общие слова.

– Нет, не пустые! – Людмилка даже слегка озлилась. – И не общие вовсе!.. Хочешь, я тебя вязать научу?.. Для этого зрение совсем не обязательно. Ты платок мамке своей соорудишь или вот носки тёплые товарищу генералу. Глядишь, и польза от тебя людям. Любой человек, даже самый распоследний инвалид, своё место в жизни найти может. Главное – захотеть.

– Ты мне лучше про Павку Корчагина расскажи или про то, как закалялась сталь. Это мы ещё в девятом классе проходили...

– В десятом, – уточнила Людмилка.

– Пусть в десятом. Какая разница?.. Мимо чего мы только не проходили!.. Помню, я сочинение написал: "Герои живут среди нас". Начитался всякой дребедени, вроде "Повести о настоящем человеке", и пошёл строчить!.. Дурак был... Хотя помнится, мне тогда пятёрку поставили и на районный конкурс писанину мою отправили. Чтобы другие пример с меня брали!.. Показуха...

– Да как ты можешь?!.. – взорвалась вдруг Людмилка. – Неужели ты не видишь, сколько настоящих людей вокруг?! – и вдруг осеклась, поняла, какое слово с губ её сорвалось.

Павел усмехнулся:

– В том-то и дело, что не вижу... Ничего я не вижу, – и по своему обыкновению откинул голову назад. Замолчал.

В купе стало как-то особенно тихо. Так всегда бывает, когда случается что-то неловкое, постыдное, когда все готовы сквозь землю провалиться.

– Прости, – Людмилка робко коснулась его руки. – Нечаянно сорвалось... Я не хотела...

– Не дрожи ты так! – он осторожно высвободил свою руку. – Сама сказала: "Себя жалеть – самое последнее дело". И я никого о жалости не прошу. Тебя тем более. Это только с убогими церемониться надо. А я не такой, – и вдруг сказал громко. – Да после того, что я в последние зрячие дни свои видел, меня уже ничто обидеть не может. Так что не переживай.

– А что ты видел?

– Ад, – коротко ответил Павел.

– Расскажи, – попросила Людмила, и сама испугалась своей смелости.

– Не хочу.

– Ты лучше не трогай его, – робко вступилась за сына Макаровна. – Не тревожь!.. Открытую рану бередить...

– Нет, пусть расскажет! – Людмила была непреклонна. – Когда страшный сон увидишь, непременно надо его тут же рассказать. Всё равно кому... И обязательно со всеми подробностями, а не то он ещё долго тебя мучить будет, – поближе придвинулась к Павлику и вдруг обняла парнишку за плечи. Он вздрогнул, но остался неподвижен. – Я на себе сколько раз испытала.

– Нет... Это был не сон, – ответили Павел.

– Всё равно... Рассказывай, – и прижалась щекой к его плечу. – Ну?..

Он повернул к ней голову.

– Как хорошо у тебя волосы пахнут. Это от духов или от мыла?

Людмила вспыхнула, вся залилась румянцем и отодвинулась от парня.

– И чего выдумал!.. Откуда я знаю?.. У меня духов сроду не было.

– Я не хотел тебя обидеть. Просто запах очень знакомый... с детства... Родной... Вот только не могу вспомнить, чем ты пахнешь.

– Да я и не сержусь... вовсе. А мыло у меня самое обыкновенное – земляничное.

– Это не мыло... – Павлик отвернулся от неё и тихо, почти про себя, добавил. – Но я уже вспомнил... Ну, да... конечно...

Дверь купе приоткрылась, и в узкой щели показалось угреватое лицо с лохматыми рыжими усами и большим красным носом.

– Вот вы где прохладаетесь!.. – дверь со стуком распахнулась настежь, и на пороге обозначилась помятая фигура в форменной куртке с давно не стиранной повязкой на рукаве, на которой с трудом угадывалась надпись "Бригадир". – Паразитки несчастные!.. Я по всему составу бегаю, а они вона где!.. Чаи гоняют!.. Людка!.. Сколько раз тебе было говорено: сиди в своей "пятёрке" безвылазно и не шлёндрай по всему составу, а ты?!..

– Я, Михал Саныч, на минутку к Нюре заскочила, – затараторила Людмила. – У неё с "титаном" проблемы, вот я и решила помочь...

– С Нюрой я отдельно разберусь!.. А сейчас...

Но узнать, что должно произойти "сейчас", никому не удалось. Влад поднялся со своего места, прихватил тужурку "бригадира" за верхнюю пуговицу и с силой притянул к себе.

– А ну, дыхни!..

– Чево, чево?.. – не понял тот.

– Дыхни, говорю! – и кто бы мог подумать, что в руках бывшего зэка и старателя такая сила! Он за пуговицу вздёнул "бригадира" так, что тот еле-еле удержался на цыпочках.

– Пусти... те!.. – слабо пропищал железнодорожник.

– Дыхни!

Кислая волна застарелого перегара выползла из-под его прокуренных усов и заполнила собою всё пространство тесного купе. Влад брезгливо поморщился и отшвырнул Михал Саныча в коридор так, что пуговица с форменной тужурки осталась у него в руках. От тихого бешенства глаза Влада побелели:

– Слушай меня внимательно, земноводное!.. Если ты ещё раз без стука, в нетрезвом состоянии посмеешь войти в наше купе, я тебя на полном ходу вышвырну из поезда под откос... Нет!.. Я тебя раздавлю, как клопа. Даже мокрого места не оставлю!.. Ты поняла меня, инфузория?!..

– Так точно... поняла, – с трудом выдавила "инфузория" из себя и, чтобы не искушать судьбу, быстро засемила по коридору.

– И научись с женщинами по-человечески разговаривать! – Влад запустил ему вдогонку оторванной пуговицей. Та стукнулась о стенку и отлетела прямо под ноги "бригадиру". Тот припустил ещё быстрее.

– Ну, вот... теперь он нас точно со свету сживёт! – сокрушённо проговорила Людмила, собирая со стола банки с мёдом. – Он и прежде нас с Нюрой не очень жаловал, а теперь и подавно – сгноит.

– Пусть только попробует! – видно было, Влад остался доволен произведённым эффектом. – И запомните, Людмила Степанна, подлецы, как правило, страшные трусы. Позвольте, я вам помогу, а не то, неровён час, разобьёте вы своё богатство при передислокации в ваш родной пятый вагон.

– Простите, что так неловко получилось... Мы ведь с Людмилкой и не ожидали вовсе, – Нюра тоже была страшно расстроена и не скрывала своего огорчения. – Больше нам так посидеть уже не придётся.

– Почему? – Павел Петрович ободряюще улыбнулся. – Мы ещё, чуёт моё сердце, не раз и не два с вами почаёвничаем. Не расстраивайтесь, голубушки.

Дверь за проводницами и сопровождающим их Владом закрылась, и в купе остались мать с сыном и реабилитированный комбриг.

– Спасибо вам, товарищ генерал.

– За что, Павел?

– За то, что вы платок матери купили.

– Господи, ерунда какая, – смутился Павел Петрович. – Это такой пустяк...

– Нет, не пустяк. Она ведь у меня ещё совсем молодая. Сорок два года – разве это срок?.. А ей, как батя погиб, так никто ничего не дарил... Вот уже сколько лет!.. – он вздохнул и прибавил, видимо имея в виду себя. – И не подарит уже...

– А мне и не нужно ничего, – возразила Макаровна. – Мне от отца твоего столько всего перепало!.. До самой смертушки своей износить не смогу. И платье синее шерстяное, и полусапожки коричневые, и ещё...

– Это всё не считается, – перебил её Павлик. – Отца давнёхонько уже нет на свете этом... Кроме него, и вспомнить некого.

– Почему? На восьмое марта ты мне как-то одеколон "Кармен" купил... Помнишь? Ещё к рождению скамеечку в баньку сработал...

– Ты не меня, ты кого из чужих вспомни.

Мать его призадумалась:

– Что ж, прав ты, Павлуша... Прав. Вспомнить мне некого.

– Вот видишь.

– Да и кому дарить-то?.. Кого в войну поубивало, кто сам по себе помер, а из живых... Тётя Настя осталась да племяш её Василий... так им самим помощь требуется, концы с концами едва сводят. Какие уж тут подарки?!..

– Вот и я о том же!.. – кивнул Павел. – Так что ещё раз спасибо, товарищ генерал. Вы для нас вроде деда мороза на Новый год.

От неловкости Павел Петрович даже покраснел:

– Ну, на деда, согласен, я в самом деле похож. А вот с Морозом ты, Павлик, по-моему, погорячился. Не обижаешься, что я тебя на "ты"?..

– Мне-то какая разница?..

– Посмотри, Павлик, совсем человека засмутил, – укорила сына мать, но по всему было видно, поступком его она довольна.

– А вы в Москву по делам или кого навестить собрались? – поспешил перевести разговор на другую тему Павел Петрович.

Авдотья Макаровна сразу озлилась и горестно покачала головой.

– По делам, будь они неладны!..

В купе, насвистывая "Наш паровоз вперёд лети, вернулся довольный Влад.

– Дорогие соседи, прошу не обижаться, но я вынужден вас на время покинуть. Во-первых, получил приглашение от Людмилы Степанны отобедать в пятом вагоне, а во-вторых, надо девушку защитить от наглых нападок на наших проводниц не вполне трезвого Михал Саныча. При мне он и пикнуть не посмеет.

Влад раскрыл свой фибровый чемоданчик, и тут!.. Глазам его попутчиков открылась картина, которую они не скоро забудут. До самых краёв чемоданчик был наполнен аккуратно сложенными сторублёвыми купюрами в банковской упаковке. Никогда еще Павлу Петровичу не доводилось видеть столько денег сразу в одном месте. Влад наугад вытащил из верхней пачки несколько бумажек, небрежно засунул их в карман брюк, прикрыл чемодан и уже хотел было выйти из купе, но, перехватив изумлённый взгляд соседа, пояснил.

– Вы не думайте, товарищ генерал, всё честным трудом заработано, до самой последней копейки, – и весело предложил: – Берите и вы, сколько хотите, не стесняйтесь. Я свою кассу на ключ никогда не запираю, – но тут же осёкся, покраснел – понял, какую глупость сморозил. – Извините, товарищ генерал, сказал дурак, не подумавши.

Павел Петрович ничего не ответил, отвернулся к окну.

– Ну, я, так сказать... пошёл? – неизвестно у кого спросил Влад и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.

– Ты, Петрович, не обижайся на дурака. Это ведь он от простоты сердечной.

– Я не обижаюсь, – не хотелось ему продолжать дальше разговор на эту тему. – Какие же у вас дела в Москве, Авдотья Макаровна?

И вот тут её прорвало:

– Представляешь, какая несправедливость, Петрович!.. Павлику третью группу инвалидности дали!.. Будто он ногу сломал или на худой конец язвой желудка мается в начальной стадии!.. А ведь он – слепой!.. Слепой!.. И как у них только наглости хватило такую пакость подстроить?!.. А ведь и у них, наверное, и дети, и внуки есть. Ты как считаешь?

Павел Петрович согласно кивнул:

– Думаю, есть. Всё у них, Авдотья Макаровна, есть. – Пустяка одного нет... Совести!..

– Вот, вот!.. И я про то же самое!..

– Не надо, мама... – Павел был явно раздосадован. – Павлу Петровичу это всё совсем не интересно.

– Ладно, пусть им Господь судьёй будет, а мне справедливость нужна!.. Вот Владислав и подсоветовал в Генеральную прокуратуру обратиться. Он хочет судимость с себя снять и нас заодно прихватил с собой. Помочь обещал и... – она на секунду запнулась, – честно скажу, денег дал. У него бумажек этих... Сам видел – полный чемодан, – и она торопливо перекрестилась. – Дай Бог ему здоровья!..

– А что же с тобой, Павел, в Будапеште произошло? Расскажи, может, и я как-нибудь смогу помочь... Если, конечно, старые приятели мои остались живы-здоровы и сидят на прежних местах.

В купе стало очень неудобно. Казалось, повисшее напряжение можно потрогать руками.

– Ничего он рассказывать не хочет. Даже родной матери ни полсловечка! – с горечью посетовала Макаровна. – Граната, говорит, взорвалась, и всё. Уж я пыталась, пыталась – всё без толку.

– Вам, мама, подробности знать совсем не обязательно. Довольно с вас того, что сын у вас калека, а как он инвалидом стал...

– Пойми, дурная твоя голова, меня уже ничем напугать нельзя... Я теперича на всю жизнь насмерть перепуганная... – и махнула рукой.

– А ведь мать права, Павел. Уж кто-кто, а она имеет право знать о тебе всё. И, поверь, её сейчас сильнее ничем ранить невозможно. Меня тоже удивить трудно. Как-никак, а я почти восемь лет в одиночке просидел. А вот тебе в одиночку горе своё переключивать не гоже. У тебя целая жизнь впереди. Хватит горе за собой, как вериги, таскать!.. С нами поделись...

Павел немного помолчал, потом согласно кивнул головой и заговорил.

Никуда не торопясь, размеренно и спокойно.

14

После того, как на Герасима Тимофеевича вылили целый ушат ледяной воды, он маленько пришёл в себя. Отфыркиваясь и ошалело глядя вокруг, исключённый из партии председатель колхоза мотал головой и не стонал, а как-то утробно мычал. Ему было так плохо, что, даже выдавший всякое на своём веку и тоже немало претерпевший от зелёного змия, Егор не знал, как помочь. Все известные ему до сих пор надёжные средства отрезвления и опохмеления, не раз и не два применённые на практике, никуда не годились.

– Эка тебя, Герасим!.. – единственное, что в данной ситуации сумел вымолвить он.

А Седых, продираясь сквозь густую пелену замутнённого водкой сознания, без устали повторял.

– За что?.. За что?..

И непонятно было, к кому относился этот извечный вопрос пьяного русского человека. К безжалостному решению бюро райкома или к не менее жестокой Галине, которая и явилась инициатором ледяного душа для председателя?

Всем, конечно, очень хотелось узнать подробности утреннего заседания в райкоме, но было ясно, что сейчас ничего путного из Герасима Тимофеевича вытянуть не удастся, а потому решено было подождать до утра.

– Его бы спать уложить, – предложил было Алексей Иванович.

– Но как?.. – сокрушался Иосиф Бланк.

– Герасим! – Галина стала тереть председательские уши. – Ты меня слышишь?!..

Тот зарычал, ещё сильнее замотал головой и, уставившись мутными глазами на свою мучительницу, вдруг просиял белозубой улыбкой от уха до уха.

– Ты кто такая, женщина?.. А?.. И как ты здесь... с этим... не понимаю... Да, ладно, не кисни... И вообще... какого хрена...

– Тихо, тихо, Герасим, ты, знаешь... ты не ругайся. При женщинах, – попытался урезонить его Егор.

– А ты вообще!.. Тоже мне нашёлся!.. Я что?!.. Не понимаю... разве?.. И не надо меня учить! Слышите?!.. Я, может, самый несчастный человек... в этой... Как её?.. Во!.. Во вселенной!.. – невероятным усилием воли он всё-таки по складам выговорил трудное слово, это отняло у него слишком много сил, поэтому, вскинув вверх руку для вящей убедительности, он потерял равновесие и с размаху рухнул всем своим грузным телом на стоящий перед ним стол. Со звоном попадали на пол стаканы, тарелки, вилки, ножи...

– Во, как я!.. – с неподдельным восторгом пролепетал Герасим, с трудом подняв мотающуюся из стороны в сторону, отяжелевшую голову. – В задачке спрашивается: "Сколько надо кашалоту за обедом пить компоту?"... Заглянули мы в ответ и читаем там: "Секрет!"... И почему ничего не разбилось...?.. А-а-а!.. Это фокус такой... Тс-сс!.. Никому не рассказывайте... Никому... Слышите?.. А я пока... – и уткнувшись лицом в стол, во всю мощь захрапел.

– Приехали!.. – расхохоталась Галина. – Никогда его таким пьяным не видела.

– Признаться, я тоже, – Алексей Иванович в задумчивости покачал головой. – Что же нам теперь с ним делать?..

– Давай, мужики, на лавку его положим, – нашёл выход Егор. – Ты Иосиф за правую ногу берись, Никитка – за левую, а мы с Лёшкой за плечи его подыдем. Галка! Учти, за председательскую голову ты отвечаешь. Ну... Раз, два, взяли!.. Ещё взяли!..

Но, как ни бились, как ни пыхтели мужики, сдвинуть размякшее пьяное тело со стола, так и не смогли. Вес отключившегося от внешнего мира Герасима оказался им не под силу. Что и говорить?.. Большой человек был!..

– Ладно!.. – махнул рукой Егор. – Придётся на столе оставить... Ты токо, Галка, подотри маленько, он тут водку пролил... А подушку мы из его же шинельки соорудим. Банька протоплена, глядишь, не замёрзнет.

С невероятным трудом они всё же взгромоздили ноги председателя на стол, подложив под голову, изрыгавшую нечеловеческий храп, скатанную шинель.

– Айда в избу, братцы! – предложил Егор. – А то здесь, коли от перегара не угорим, от храпа оглохнем. Ты, Лексей, не обезсудь, но твою бутылку мы просто обязаны прикончить. Не имеем никакого морального права ополовиненной её оставлять!.. А то вдруг ты плохое про нас подумаешь: будто мы высококачественной Анисьиной самогонке городскую сивуху предпочли. Нет, дорогая моя, – он ласково погладил початую бутылку. – Наша любовь к тебе в данном конкретном случае осталась верной и неизменной, – и, уже направляясь к двери, строго распорядился: – Галка, имей в виду, закуска – твоя забота.

И вся компания, оставив безчувственное тело председателя на столе в предбаннике, прихватив с собой недопитую бутылку самогона и остатки закуски, перебралась в богомоловскую избу.

Первым делом Егор предложил тост: "За благополучный исход борьбы с товарищем Седых, потерявшим не только человеческий облик, но и партийный билет!" Предложение это особого энтузиазма не вызвало, но было принято большинством голосов, то есть количеством поднятых в поддержку Егора стаканов. Затем, коротенько закусив и достав свою любимую трубочку, Егор продолжил давишний разговор, прерванный вторжением Герасима Тимофеевича:

– Никита Сергеевич, а ведь ты мне так и не ответил, когда пакости свои бросишь? Скажи честно, неужто не надоело тебе?.. Подумай, скольким людям ты жизнь попортил. Да и себе тоже... Не приведи, Господи!.. Сам себя, собственными руками осиротил!..

Никитка сидел в дальнем конце стола, низко опустив голову, и сосредоточенно ковырял указательным пальцем тёмный сучок на доске столешницы.

– Оставь, Егор. Не видишь разве, парню и без тебя худо, – вступился за Никитку Алексей Иванович. – Право, отложим до завтра.

– Может, ты спать ляжешь? – участливо спросила Галина.

Но тот молча продолжал ковырять стол, словно не слышал вопроса.

– Вы знаете, – деликатно вступил в разговор Иосиф, – когда наша семья жила в Риге, у нас во дворе на улице Тербатас тоже был один мальчик. Его звали Гунтис...

– А я и не знал, что ты в Риге жил, – Егор был искренне удивлён. – Как ты там оказался?

– Очень просто: я там родился. Мой папа была сапожник, и у него была маленькая мастерская на улице Дзирнаву. И он был очень хороший сапожник, потому что он не только чинил старую обувь, но мог сшить новые туфли. И это его погубило.

– Погубило, что он был хорошим сапожником? – удивилась Галина.

– Представьте себе, да!.. – и, увидев удивленные глаза сидевших за столом, объяснил. – В сороковом году, летом, в Латвию пришла Красная армия, и один красный командир захотел, чтобы папа сшил его жене выходные туфли, и папа сшил, но командир, оказывается, думал, что папа сделал его жене бесплатный подарок, а папа думал, что командир просто забыл заплатить, и сказал об этом командиру. Представляете?!.. И как вы думаете, чем закончилась эта неразбериха?.. Через несколько дней папину мастерскую "национализировали". Я понимаю, это очень смешно: национализировать маленькую комнату в полуподвале, но так было написано в маленькой бумажке с большой круглой печатью, а папу и всех нас посадили в товарный вагон и повезли, – Иосиф вздохнул и замолчал.

– Куда вас повезли? – спросила Галина.

– Куда?.. Я думаю, на север. По крайней мере, так все говорили у нас в вагоне. Но до севера мы не доехали. То есть не все, а только папа и я... Мы оба сильно заболели, и маму с

моей младшей сестрёнкой повезли дальше, а нас с папой вытащили из поезда и отправили в больницу. Там папа умер, а я – нет.

– Ах, вот как ты очутился в наших краях! – обрадовался Егор. – Я всё хотел тебя спросить об этом, да, признаюсь, стеснялся... Вот так всегда у нас! – его вдруг потянуло пофилософствовать. – Ничего-то мы друг про дружку не знаем. Каждый сидит в своей скорлупе и боится нос наружу высунуть... Не доверяем мы никому... Даже самим себе... Эх, жисть наша собачья! – но почему именно "собачья" разьяснить не стал.

– Так, если можно, я продолжу? – робко спросил Иосиф. – Я про Гунтиса с улицы Тербас. Это был очень странный мальчик. Не подумайте, он не был хулиган, нет, но от него страдали все вокруг, даже его несчастные родители. Вы знаете, каждый день он должен был сделать что-то... как бы лучше сказать... не очень хорошее. То он выливал из окна на головы прохожих рыбий жир. Все наши мамы заставляли детей по утрам пить этот рыбий жир, чтобы у них не было рахита. Я, конечно, имею в виду детей, а не мам. И вы, наверное, знаете, дети совсем не любили рыбий жир, потому что он очень противный, но одни, как я, например, его пили, а Гунтис – нет... Он выливал его проходим на головы. Даже дошло до того, что, когда люди приближались к нашему дому, они переходили на другую сторону, потому что знали, из этого дома на головы капает рыбий жир. Или ещё один пример: у нас во дворе было очень много бездомных кошек, так он любил поймать одну из них и привязать за хвост к ручке входной двери. А знаете, дверь в нашем подъезде была с очень сильной пружиной, и, когда кто-то входил в дом или выходил из дома, дверь хлопала с очень страшным стуком, кошка очень сильно визжала, наверное, ей было очень больно, а Гунтис очень сильно смеялся. Ему было очень весело. А однажды... Вы знаете, что однажды сделал этот Гунтис?.. Он в нашем подъезде вылил на пол целую бутылку подсолнечного масла... А знаете, пол у нас был очень гладкий, потому что он был из мрамора... Да, да, представьте себе, наш дом был очень старый, и, наверное, поэтому в нём был мраморный пол, и многие жильцы, попадали на этот пол, ведь он стал такой... очень скользкий. И мало ещё, что они испачкались в подсолнечном масле, но очень многие сильно ушиблись, а одна старая женщина даже сломала себе руку... После этого случая папу Гунтиса вызвали в полицию и очень сильно ругали, и он даже заплатил большой штраф. И, как рассказывала наша соседка Фрида Марковна, что, когда в участке спросили, зачем он это сделал, знаете, что ответил мальчик?.. "Это не я. Кто-то другой заставил меня вылить масло на пол". Его опять спросили, кто же этот "кто-то другой"? И знаете, что сказал Гунтис?.. "Я его ни разу не видел, но "он" всё время ходит за мной и всё время шепчет мне: "Сделай это!.. Сделай это!..", и я почему-то чувствую, что должен его послушаться, и делаю, что он мне говорит"... Представляете?.. – Иосиф поднял вверх указательный палец и пришёлкнул языком.

– Ну, и зачем ты нам про этого паршивца рассказал? – спросил Егор.

– Просто я подумал, может быть, это не сам Никита Сергеевич, а "кто-то другой" его заставляет?..

– Ну, ты даёшь!.. Кто "другой"?!..

– Бес, – просто ответил Иосиф.

Никитка давно уже перестал ковырять сучок на столе и, подняв голову, внимательно слушал Иосифа. Но при слове "бес" вздрогнул и вновь уткнулся взглядом в столешницу.

– Я тогда не знал, а теперь понял, почему Гунтис, когда в Ригу пришли немцы, стал полицаем и служил в Саласпилсе. Вы, наверное, не знаете, но совсем недалеко от Риги немцы устроили такой лагерь, куда отправляли большевиков, евреев и наших пленных, а Гунтис сделался в этом лагере надзирателем. Моя родная тётя Мара сидела в Саласпилсе и, как это ни смешно, осталась жива. Так она написала мне письмо и рассказала, что Гунтис сам захотел служить фрицам, но я думаю, это бес его заставил, несчастного. И ещё она написала, что, когда в Ригу пришла Красная армия, его поймали и повесили на глазах у всех. Тётя Мара так страшно всё описала!.. Всех, кого поймали, поставили в кузов грузовика без бортов, а на левом берегу Дау-

гавы, на площади, построили много виселиц и собрали много народу... Автомобиль подъезжал к виселице, на шею человеку надевали петлю, и грузовик ехал дальше... А человек оставался болтаться, подвешенный на верёвке. И с Гунтисом сделали так же...

Он замолчал, и в горнице стало так тихо, что было слышно, как где-то далеко протяжно и тоскливо воет собака.

– Простите меня, если можете... Пожалуйста, – эти тихие простые слова Никиты Новикова произвели на всех ошеломляющий эффект. – За всё, за всё простите, – он, может быть, первый раз в своей коротенькой нескладной жизни смотрел на окружавших его людей не узкими щёлочками исподлюбья, в которых светилась колючая ненависть и злоба, а широко раскрытыми глазами, полными слёз, боли, отчаяния. – Я больше не буду... Честное комсомольское.

Егор недовольно крякнул и кашлянул в кулак: не мог он вот так сразу, с бухты-баряхты, простить подлеца. Пораженный, обрадованный, Алексей Иванович не верил своим глазам. А Галина первая подошла к парню, крепко по-матерински поцеловала в лоб и прижала к себе.

– Вот и ладно, – тихо сказала она. – Вот и молодец...

Иосиф, никак не ожидавший, что его рассказ о Гунтисе с улицы Тербатас произведёт такое ошеломляющее впечатление, в задумчивости протирал свою лысину.

– Ты не отчаивайся, Никита, – продолжала Галина. – Сердце подсказывает мне, жива твоя мать, жива Настёна. Вот увидишь.

– Не надо меня успокаивать, – парнишка опять насупил свои реденькие бровки. – Я не маленький и с бедой без посторонней помощи управлюсь.

Помолчали.

Первым заговорил Егор.

– Ладно, коли так!.. Прощаю тебя, Никитка. Не из жалости, учти, и не потому, что все твои шкоды забыть готов, а потому только, что сам Господь велел нам прощать. И потому ещё, что память матери твоей дорога мне. Настёна перед людьми ни в чём не виноватая была...

– Будет тебе, Егор, – Галина укоризненно покачала головой. – Не след пропавшего человека загодя хоронить. А вдруг найдётся?.. На тебя на самого похоронка в сорок четвёртом пришла. Мы и отпели тебя, и поминки справили, а ты назло всем смертям калекой, но всё-таки домой возвратился.

– Никого я не хороню. Говорю, что чувствую... Эх!.. Не понимаете вы ни хрена!.. – Крутов в раздражении налил в стакан самогонки и, не сказав более ни слова, выпил. Не закусывая, опять достал из кармана трубочку и в который уже раз задымил.

– Как думаешь дальше жить? – спросил Алексей Иванович.

– В монастырь уйду.

– Чего, чего?!..

– Куда ты пойдёшь?!..

– В монастырь...

– Слушай, ты случаем того... не повредился в уме-то?!.. – Егор не верил своим ушам.

Никитка будто и не слышал вопроса.

– Не знаете, какой тут у нас поблизости?

– Зачем в монастырь?! – удивлённо пожала плечами Галина Ивановна.

– В дворники?.. Или истопником?.. Он же ни на что путное, акромья пакостей, не способен, – Крутов никак не желал успокаиваться.

– Почему истопником?.. – Никитка жутко обиделся. – У меня серьёзные намерения. Я прямо в монахи собираюсь...

Сначала, захлёбываясь махорочным дымом, закудахтал Егор, следом захихикал Иосиф. Галина, как ни старалась, не смогла удержаться: предательская улыбка сама вырвалась наружу и расплылась по её лицу. Только Алексей Иванович остался серьёзен.

Никитка покраснел и обиделся ещё больше.

– Неужели не понимаете?!.. Мне сейчас иначе нельзя!.. Другим способом грехов мне своих вовек не замолить...

– Ну, Никита Сергеевич!.. Занятный ты способ отмаливания грехов нашёл!.. – всплеснул руками Егор. И вдруг вскрикнул, обрадованный собственному открытию. – Слушай! Да ты никак всю монашескую братию в комсомольскую веру решил обратить?!.. Молодчага, парень!.. Что ж, валяй!.. На весь Божий мир знаменитым станешь, пуще киноартиста Крючкова! Ей-ей!..

– Будет тебе ёрничать, – попытался урезонить Егора Алексей Иванович, но тот разошёлся вовсю.

– Ты перво-наперво научи их строем ходить и, вместо "алиллуйя", "ура!" кричать. Глядишь, снова тебя в газете пропечатают – "Монахи-добровольцы – лихие комсомольцы". И портрет на самой первой странице! Представь: Красная площадь, мавзолей, Первомайская демонстрация, а мимо всего правительства по брусчатке монахи в чёрных рясах идут, и несут они не хоругви, не иконы, а красные флаги на громадный транспарант: "Да здравствует наш дорогой Никита Сергеевич!", а он, этот самый Никита Сергеевич, извини, не Хрущёв, а ты, Никитка, во главе всех с портретом главного антихриста в руках.

– Какого такого антихриста?.. – Никитка чуть не плакал от обидной беспомощности!.. Понимал, Егор над ним издевается, но найти подходящий ответ никак не мог.

– За последние сорок лет антихристов в России столько развелось – не счесть... Но главный среди них один – товарищ Ленин.

– Да какой же он антихрист?!.. – парнишка даже задохнулся от негодования. – Ты, знаешь, Егор Евсеевич!.. Ты говори, да не заговаривайся!..

– А кто же он по-твоему?

– Он... Он... Вождь мирового пролетариата!.. Вот он кто!

– А я полагаю – антихрист. Сколько с семнадцатого года священников по всей России поубивали, сколько храмов порушили?!..

– Владимир Ильич никого не убивал! – отважно вступился за вождя мирового пролетариата комсомольский вождь. Губы у него дрожали, глаза сверкали лихорадочным блеском. – Он даже стрелять не умел!

– Но приказы убивать кто отдавал? Он, а не дядя с улицы. Главнее его в семнадцатом годе никого не было. То-то и оно!.. А стрелять, может, и не стрелял. Для этой работы у него другие наготове под рукой имелись. Прихвостнями в народе прозываются. Они, что ни прикажи, всё исполнят. Ты, Никитка, тоже... из их числа.

– Будет тебе, – вступилась за парнишку Галина Ивановна.

– Погоди, мне с этим кандидатом в монахи до конца договорить надобно, – Егор был зол и непреклонен. – Вы, коммуняки, до сей поры народ православный в покое оставить не можете!.. Вона, отец Серафим... За какие такие грехи вот уже пять лет лагерную лямку тянет? Да за то только, что захотелось ему алкашей, вроде меня, в божеский вид привести. А кто его за решётку упёк?!.. Кто храм Божий давеча закрыл?!.. Припоминаешь?!.. Или память тебе вместе с совестью напрочь отшибло?!.. Последыш!.. – и в ярости так шарахнул своим протезом об пол, что чуть не сломал.

– И что ты на него так взъелся?.. Разве он за всю страну в ответе? – остановил Егора Алексей Иванович. – Может, мы с тобой, Егор, более виноваты, и прежде с нас спрашивать надо. Дети по стопам отцов идут.

– Только не по моим! Никитка свою тропинку сам себе вытоптал. Без моей помощи.

Алексей Иванович взял мальчишку за плечи и пристально посмотрел в глаза:

– Слушай, парень, ты это серьёзно?

Никитка кивнул:

– Очень. Мне мамушке подсобить надобно, а не то ей... на том свете трудноато сейчас приходится...

– Ты чего буровишь?! – Крутов даже задохнулся от негодования. – На каком таком "на том свете"?!.. Нет, вы слышали?!.. Я даже... Я не знаю... Ну, совсем... Лексей, скажи хоть ты ему!

Богомоллов недовольно поморщился:

– Уймись, Егор! – потом опять обернулся к Никитке. – Чтобы стать монахом, непростой путь пройти надо. С бухты-барахты такие дела не делаются. Ты когда последний раз исповедовался, причащался?..

– Не помню.

– Вот видишь. Чтобы в монастырь уйти, священническое благословение требуется. А его, между прочим, тоже заслужить надо.

– Чем?

– Постом, молитвой, послушанием и ещё многим, многим другим. А перво-наперво – исповедаться ты должен, Никита. Теперь, правда, у тебя с этим проблемы будут: церковь у нас закрыта, придётся в город ехать. Ты ко мне завтра с утра заходи, поговорим.

– Я заслужу, честное слово, заслужу!.. – в его голосе звучала отчаянная решимость. – Вот увидите!..

Галина обняла Никитку, поцеловала:

– Дай тебе Бог, сыночка.

В глазах "вожака" опять заискрились непрошенные слезинки.

– Ничего... Ничего, Никитка... Терпи. Всё будет хорошо, – Алексей Иванович тоже поцеловал его в лоб.

– Братцы-товарищи! Вы это чего? – Егор замотал головой. – Дурной сон какой-то.

И обернулся к Иосифу, который довольно потирал руки:

– Ты-то чему радуешься?!..

– Он его отпустил, – объяснил счастливый Иосиф Бланк.

– Кто отпустил?.. Кого?..

– Бес отпустил Никиту Сергеевича.

– Погоди радоваться, – не сдавался Егор. – Как ты сам говоришь, когда в бумажках своих сомневаешься?

– "Это ещё надо посмотреть"?!..

– Вот-вот. это самое. Давай-ка и мы с тобой, Иосиф, "будем посмотреть". Согласен?

– Посмотреть, так посмотреть. Согласен, Егор Евсеевич.

И тут с улицы донёлся истошный бабий крик: "Караул!.. Люди добрые, помогите!.. Ратуйте, люди добрые!.."

Все вздрогнули, прислушались.

– Ну, и денёк сегодня! – Галина двинулась к двери. – Что ещё у нас в деревне стряслось?..

Но не успела она сделать и трёх шагов, дверь настежь распахнулась, и на пороге возникла бабка Анисья. Задохнувшись от быстрого бега, всклокоченная, с очумелыми глазами, она не вошла – влетела в избу и, зацепившись разорванным подолом юбки за шербатую половицу, растянулась у ног председателя сельсовета.

– Анисья, милая, что с тобой? – Алексей Иванович кинулся поднимать с пола безумную старуху.

А та, как рыба, выброшенная на берег, широко открывала рот, стараясь захватить побольше воздуха, махала руками и, казалось, лишилась дара речи.

Её подняли с пола, усадили на лавку. Егор, знавший только одно средство, которое может быстро и эффективно привести человека в чувство, тут же налил стакан и протянул Анисье.

Та вскинула на него свои безумные глаза, пришла в ещё большее смятение, охнула, ахнула и завопила что есть мочи.

– Свят!.. Свят!.. Свят!.. Богородица, Дева Чистая, моли Бога о нас!

– Анисья!.. Что случилось?!.. Ты нормально говорить в состоянии?..

– Сгинь, нечистая сила!.. Сгинь!.. – в ужасе повторяла старуха и, несмотря на отчаянные попытки хозяина дома помешать ей, грохнулась на колени, начала истошно креститься и бить земные поклоны.

– Ты, старуха, небось, и сегодня зелье своё варила? – участливо спросил Егор и, увидев недоумённые глаза Галины, пояснил: – Она, когда самогон гонит, непременно по нескольку раз пробу снимает, чтобы, значит, в пропорции не ошибиться. Сегодня, видать, перебрала.

Анисья, услышав знакомый голос и трезвую речь, поначалу замолкла и перестала бить поклоны, потом осторожно подняла голову, увидела склонённых над собой людей, разглядела среди них Егора и очень робко, осторожно спросила:

– Ты здесь?..

– А где же ещё?

– И живой?..

– А что мне делается? – в свою очередь поинтересовался тот.

– Ну, слава Богу, – она опять перекрестилась. – А я уж было... – и стала отмахиваться от него рукой, как от комара или назойливой мухи.

– Что "было"?.. Ну, договаривай!..

– Похоронила тебя.

– Это с какой такой радости?

Анисья сокрушённо покачала головой и тихо, по большому секрету, сообщила.

– У тебя в доме вой!..

– Что ты несёшь? Какой вой?

– Вот такой, – и она, задрав голову, тоненько и протяжно завывала. – У-у-у!.. Ау-ау- ооо!!!..

– Точно, перебрала, – Егор был категоричен.

Анисья закончила выть и, скорчив жуткую гримасу, призналась:

– И так мне жутко сделалось!.. Даже колики в животе начались. И решила я, нетопырь к тебе в избу забрался... и... того, значит... порешил тебя... и завыл на радостях.

– Какой такой нетопырь?..

– Известно какой... Обыкновенный.

– Скажешь тоже...

И вдруг страшная догадка молнией обожгла его пока ещё трезвый мозг.

– Щуплый!..

– Этого я не могу сказать, какой он на взгляд. Может, щуплый, а может, и упитанный, – бабка Анисья в сомнении покачала головой. – Я нечисть эту, признаться, никогда ещё в жизни не встречала... Разве во сне... – Я Щуплого, участкового нашего, в своей избе запер!.. Дурак старый!.. – Егор стукнул себя кулаком по лбу. – Ему, видать, с похмелья одному в пустой избе бесы мерещиться начали, вот он и завыл. Ну, прощевай, Лексей, я побёг, – и покосился на недопитую бутылку самогона. – И что за невезуха у меня сегодня?!.. Больно неохота приятную компанию нарушать, но... Ничего не поделаешь, милицию в заточении держать не очень-то позволено. На волю выпустить надо. Эх, ма!.. Жисть наша собачья! – и на прощанье ещё раз с горечью поглядел на бутылку.

– Да у тебя дома точно такая же стоит, – попробовала успокоить его Галина.

– Стояла, – уточнил Крутов, – Щуплый всё выпил... Ну, я пошёл?.. – спросил робко, но с надеждой.

– Забирай.

– Не понял, – Егор не поверил своему счастью.

– Забирай, говорю! – рассердился Алексей Иванович. – Пока не передумал.

– Это мы мигом! – он проворно засунул самогонку себе за пазуху. – Никитка! За мной!

– Я здесь останусь ночевать. Можно?.. – в глазах у мальчишки была такая мольба, что Алексей Иванович не выдержал и рассмеялся.

– Нечего, нечего! – остановил порыв Никитки Егор. – Алексею Ивановичу отдохнуть надо. Вона сколько его в милиции мурыжили! А ежели один спать в пустой избе боишься, топай ко мне. Я уж тебя, так и быть, на печь уложу.

– Спасибо. Я как-нибудь без вашего гостеприимства обойдусь, Егор Евсеевич. Спокойной вам ночи, Алексей Иванович! – и мальчишка стремглав бросился наружу.

– Анисья!.. – Крутов потрепал ошалевшую бабку за плечо. – А ты что? Тоже собралась туточки ночевать?

– Ой, да что ты!.. Да куда уж!.. У меня и аппарат включённый, – засуетилась старуха.

– Тогда, бабка, напра – во! – скомандовал Егор. – К включённому аппарату шагом марш!

Подхватив порванный подол, Анисья быстренько засемила к двери. За ней, бодро стуча своей деревяшкой, зашагал Егор Крутов.

– Егор Евсеевич, подождите меня! – крикнул вслед Иосиф. – Я с вами!.. – и уже на ходу обернулся и пожелал: – Приятных вам сновидений.

Хлопнула входная дверь, и наступила тишина. В горнице за столом друг напротив друга остались Алексей Иванович и Галина.

Какие красивые у неё глаза, светло-серые с тоненькой тёмной каёмочкой вокруг радужки!.. Да и вся она на удивление статная, стройная. Почему раньше он не обращал на неё внимания? И почему сейчас не может отвести от её лица восхищённого взгляда? Почему?!.. И у него сладко заныло сердце, и потянуло вдруг к этой милой, славной, такой же одинокой, как и он, женщине, и захотелось крепко-крепко прижать её к себе и больше уже никуда не отпускать. Но он не шелохнулся. Сидел на лавке и любовался, и сожалел, и тосковал...

Молчание затянулось.

– Ой, я и забыла совсем! – всполошилась Галина. – Как давеча увидела тебя, всё на свете забыла!..

Она встала из-за стола, подошла к своей телогрейке, брошенной на табурет возле двери, и достала из кармана конверт.

– Тебе письмо пришло. Клава-почтальонша, как узнала, что тебя на "Победе" в город повезли, у меня в сельсовете оставила, чтобы не пропало. Мы ведь, грешным делом, решили, тебя не скоро отпустят. Я, когда с работы шла, нарочно заглянула... Подумала, а вдруг ты... Ну и... как увидела тебя, так обрадовалась, что про письмо и забыла...

Алексей взял конверт, но не стал вскрывать, а, положив его на стол, подошёл к Галине, взял её за руки, уткнулся лицом в её ладони, с минуту простоял неподвижно, вдыхая неповторимый запах её ставшего вдруг таким желанным тела, и только после этого смело посмотрел ей прямо в глаза. Она замерла, напряглась вся и... отвела взгляд.

– Пожалуй, я пойду? – не глядя на него, сказала тихо, почти шёпотом, но не шелохнулась.

– Погоди, побудь со мной. Ещё немного побудь, – робко попросил он и осторожно начал целовать её глаза, щёки, губы...

– Ну, зачем?.. Не надо!.. Что ты делаешь?.. – бормотала она, запрокинув голову назад и слабо сопротивляясь его поцелуям. – Сумасшедший!..

– Пусть!.. Но я не могу без тебя... Совсем не могу... Пойми...

В ответ она обвила его шею руками и прижалась к нему всем своим жарким, истосковавшимся по мужской ласке телом.

Ещё не доходя до дому, Егор понял, вовсе не собачий вой слышался давеча в богомоловской избе. Ему, конечно, неведомо было, как воют нетопыри и вурдалаки, вполне воз-

можно, и пострашней, но те звуки, что раздавались в тёмной ночи сейчас, заставили его содрогнуться. Кровь стыла в жилах от тонкого, протяжного, раздирающего душу воя, наполненного всеми красками и обертонами глухой нечеловеческой тоски – от горестноноющей до безнадежно-отчаянной!.. В общих чертах Анисья верно передала характер и особенности воя отважного милиционера. Надо отдать ей полную справедливость.

Что творилось на душе запертого в крутовской избе участкового инспектора Щуплого Егор, конечно, не знал, но об этом лучше было не думать!

Дрожащими руками Егор отпер замок, но не успел даже приоткрыть дверь, как она сама с треском распахнулась, и мимо него с бешеной скоростью, уже не воя, а утробно рыча, промчался Василь Игнатьевич.

Пометавшись по двору сначала в одну сторону, потом в другую, он, наконец, разглядел в темноте силуэт позарез нужного ему сейчас маленького, одиноко стоящего в сторонке домика и с торжествующим криком: "Ура-а-а-а!.." – бросился вперед. И, хотя Щуплый ни в каких войсках никогда не служил, этот его порыв был похож на смертельную атаку нашей морской пехоты из героического кинофильма "Мы из Кронштадта". Он чуть не сорвал с петель дверь и с тем же победным воплем ворвался в домик. Затем наступила мёртвая тишина, и в этой тишине послышалось тихое журчание и сладостный стон нечеловеческого удовлетворения.

Взяв с боем крутовский нужник, старший сержант испытывал сейчас неизъяснимое наслаждение!..

Егор в растерянности почесал свою плешь. О том, что обстоятельства могут принять такой оборот, он, запирая дверь своего дома, как-то не подумал.

– Спокойной ночи Егор Евсеевич, – хитрый Иосиф, конечно же, знал, что придётся сейчас выслушать хозяину дома, и потому решил ретироваться до выяснения отношений.

– А заглянуть на минутку не хочешь? – Егор тоже понимал, что его ждёт, когда участковый покинет завоёванный объект, и надеялся, что присутствие Бланка может смягчить предстоящий удар.

– Как-нибудь в другой раз, Егор Евсеевич, – заторопился Иосиф, услышав, что журчание и стоны в домике прекратились.

– Ну, бывай, коли так, – с горечью согласился Крутов и приготовился в одиночку вынести всё, что готовила ему судьба.

– До завтра, Егор Евсеевич! – и бухгалтер скрылся в ночи.

– Ты что же это, паразитская твоя душа?!.. А?!.. – грозно спросил Щуплый, выйдя из домика и застёгивая ширинку на галифе. – По какому такому праву ты над людьми издеваться вздумал?!.. А?!.. Да за такие дела!..

– Ты, Васёк, не кипятись, – Крутов был сильно смущён. – Лучше посмотри, что я тебе принёс, – ласково, как с ребёнком, заговорил он и извлёк из-за пазухи бутылку, прихваченную у Богомолова.

Гнев Щуплого моментально пошёл на убыль:

– Это, конечно, меняет дело, но всё равно права такого не имеешь, чтобы людей без ордера на арест под замок сажать!.. Знаешь, что я могу с тобой сделать?

– Знаю, – тут же согласился Егор. – А знаешь ли ты, что я с тобой сей же час сделаю?

– Что?.. – насторожился Василий.

– Опохмелю, дорогой ты мой!.. Пойдем в избу скорей, ты же совсем босой, неровён час, простудишься, – и, обняв покорного, но всё ещё смертельно обиженного участкового за плечи, повёл в дом.

А потом они до самых петухов сидели за столом, допивали оставшийся самогон и мирно беседовали: о трудностях милицейской службы, о нищенской зарплате, о международном положении, о бабах, это – само собой, и вообще о нелёгкой жизни и коварной судьбе. Потом, путая и меняя слова, пели из "Кубанских казаков":

"Каким я был, таким я и остался..."

А когда совсем рассвело, Егор, наконец, решился и задал вопрос, который мучил его с самого момента возвращения домой:

– Васёк, что же ты в ведро нужду свою не справил?..

Щуплый застеснялся, нахмурился, потупил взор:

– Не приучен я, чтоб в ведро, – буркнул он. И густо покраснел.

15

– Мы под Ужгородом стояли, – начал Павел свой рассказ. – Места там красивые – загляденье. Среди ночи, часа в два, подняли нас по тревоге, посадили на грузовики и повезли. Мы думали, учения, так бывало уже не раз, но... Небо начало сереть, а мы всё едем, едем... Я страшно замёрз. Ветер колючий... Потом мокрый снег пошёл... Мы прижались друг к другу и так грелись. Повезло тем, кто в самой серединке оказался, там теплее, а я нет, с самого края сидел. Оттого и заоченел. В Чопе нас из машин высадили, завели в огромный пустой сарай и как будто совсем забыли... До обеда забыли. Младшие офицеры сами ничего не знали, а они тоже с нами в сарае маялись... Так же, как и мы... А в обед... Приехал генерал и перед строем сказал, что в Венгрии произошёл мятеж и мы должны помочь нашим венгерским братьям восстановить в стране порядок... А в конце своей речи мельком так, невзначай сказал, что за невыполнение приказа в этой операции... трибунал. Но тогда никто всерьёз его слова не принял, а некоторые ребята даже обрадовались – за границу едем... И, когда генерал ушёл, смеялись, песни пели... Мне петь не хотелось, и очень потянуло домой... Ближе к вечеру нам выдали полный боекомплект, сухой паёк на трое суток, опять посадили в машины и опять повезли. На границе венгерских пограничников уже не было, только наши... в малиновых околышках. Мы поняли, кто они, и стало как-то не по себе. Те, кто прежде радовался заграничной поездке, притихли. Оттого ещё, наверное, что всю дорогу, пока мы ехали, вдоль шоссе стояли люди и смотрели на нас. Молча... Даже когда стемнело, они не разошлись по домам, а всё так же стояли... кто с фонарём, кто со свечкой или с факелом, что у кого было... Всё так же... в полной тишине. Я старался на них не смотреть. Рано утром подъехали к Будапешту, а там... нас встречали. Поперёк дороги стояли люди – женщины, старики, дети... Огромная толпа... Думаю, несколько тысяч... Они махали трёхцветными флажками и пели свои венгерские песни. Сначала мы подумали, это они нас встречают, но скоро поняли – нет, не встречают вовсе. Эти люди не хотят пустить нас к себе в город... Заслон из живых людей... Страшно... Нашего лейтенанта, а он был всего на три года старше меня, колотил озноб. И все слышали, как стучат его зубы, и он сам тоже слышал, злился, краснел, но ничего не мог с собой поделать. Следующим вечером его подстрелили... Наповал... Мы простояли на дороге целый день. Венгры смотрели на нас, мы смотрели на них. И все знали, что будет дальше, но никто ничего не делал. Ждали... И они, и мы... Стало темнеть, и тут в нашей колонне произошло движение. От машины к машине побежали вестовые, и через минуту мы тронулись. И тут вся толпа закричала... Одновременно... Несколько тысяча человек... Знаете, что это такое?.. Жуть... Они пытались остановить машины руками, а мы давили их и ехали дальше. Медленно, со скоростью, может быть, пять километров в час, но... двигались без остановок... Я сам видел, как высокий старик вышел нам навстречу. Он держал на руках маленькую девочку, ей было годика три, не больше. Он встал прямо перед нашей машиной и стал кричать что-то по-венгерски, но мы не остановились, и они... Они оба пропали под капотом, и я услышал, как тихонько закричала девочка... Даже не закричала, а застонала... Наверное, ей было больно... Я не видел её, только слышал... А может быть, мне показалось, что слышал... Не знаю... Потом венгры стали залезать на наши машины. Они карабкались по бортам, по радиатору. Они пытались руками стащить нас вниз, на землю, и бросить под колёса наших грузовиков... Я не помню, была ли команда открыть огонь, или у кого-то не выдержали нервы, и он первым нажал на курок, но через секунду все наши уже стреляли... Представляете?.. Автоматные очереди и вой тысяч людей... Невыносимо... Я тоже стрелял, пока не кончились патроны... Я хотел только одного – не слышать воплей этих людей. Мне казалось, я сошёл с ума.

Он замолчал и, откинув голову назад, замер. Макаровна покачала головой, словно хотела сказать: "Нет! Не верю! Такого быть не может!" Ни она, ни Павел Петрович не могли произнести ни слова, не смели поторопить Павла.

Прошло, наверное, минут пять прежде, чем он снова заговорил:

– В конце концов, мы прорвались в город, и тут оказалось, из толпы тоже стреляли. В нашем грузовике были трое раненых, а Толику Комарову, единственному москвичу в нашей роте, пуля задела сонную артерию, и он умер от потери крови. Раненых мы перевязали, а Толика положили поближе к кабине и накрыли с головой... Только ноги в кирзе торчали из-под края шинели... Город был совсем пустой. На улицах ни души, и в окнах домов не горел свет, хотя было уже темно... Только моторы наших зиллов нарушали эту тишину. Совсем мёртвый город... И ещё... На одной улице под деревьями тлели огни. Когда мы подъехали ближе, то увидели, что к веткам этих деревьев за ноги привязаны люди... Руки у них были связаны за спиной, а под их обгорелыми головами догорали костры. Потом нам сказали, что так повстанцы расправлялись со своими коммунистами...

Павлу Петровичу стало плохо: у него защемило, стало тесно в груди, и он осторожно, стараясь не помешать, положил под язык таблетку валидола.

– Мы остановились на площади где-то в центре города, но из машины не выходили, сидели в кузове. Похоже, и командиры наши не знали, что делать дальше. Говорили, жители города сняли со своих домов таблички с названиями улиц, и от этого никто не мог понять, где мы находимся и куда надо ехать. Ночь мы провели на этой площади. Спали в кузове, вповалку, рядом с убитым Толиком... Наверное, одному ему не было холодно в ту ночь... И потом ещё целый день и всю следующую ночь Толик ездил с нами по всему Будапешту и тихонько подпрыгивал под своей шинелью на ухабах... Только на второй день прислали из санчасти уазик с красным крестом на дверце, и мы с ним расстались.

Макаровна, трижды перекрестившись, почти беззвучно прошептала: "Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Анатолия..."

Павел опять немного помолчал.

– Странная это была война. Какие там окопы или линия фронта?!.. Я, например, ни разу не видел, кто стреляет, откуда. Они прятались за окнами своих квартир, на крышах или чердаках. Поэтому ночью мы старались остановиться где-нибудь на пустыре или на площади. Для большей безопасности. Нам из своего грузовика некуда было деваться... Мы даже нужду принаровились на месте справлять. Зато днём в открытом кузове мы были для них отличной мишенью... К концу третьего дня из нашего взвода всего шесть человек остались, я в том числе... Но... я не боялся умереть. В первый же день понял, что умру в Будапеште. И сразу успокоился, потому что знал наверняка... Но вот ждать... Понимаете?... Ждать... Всё время ждать... Когда?... Через час?... Через секунду?... Совсем невтерпёж было... От этого я сильно уставал... Очень измучился... Даже торопил, чтоб поскорее... Вот ведь как бывает!.. И дождался-таки. У Серёги забарахлил мотор, он остановился, чтобы посмотреть... Мы недолго стояли, минут десять... но, когда тронулись, поняли, что от своих отстали... И в результате... заблудились... Плутали, плутали и заехали невесть куда... А спросить дорогу не у кого, да и как спросишь? Мы по-венгерски ни бум-бум... Остановились... Мотор заглушили, потому как бензин на нуле, надо экономить... И вдруг видим – впереди через два дома от нас... на третьем этаже на балкон вышла женщина. Мы сначала не поняли, а потом Гришка из Могилёва как заорёт: "Пацаны! Да она голая!" Серёга мотор завёл и вперёд, захотелось удостовериться... поближе посмотреть... Подъехали, а она... на самом деле, без ничего... То есть совсем... Засмеялась, рукой нам сверху помачала и что-то бросила нам в кузов... Это потом уже я узнал... гранату. В госпитале узнал, когда в сознание пришёл. А тогда... Помню, хлопок, яркую вспышку, весёлую голую бабу, радостный Гришкин смех и... темнота.

Он замолчал. Потом повернул голову в сторону матери и спросил:

– Мама, как вы?.. Ничего?..

– Всё хорошо, сынок, не тревожься.

И в самом деле, в глазах её не было ни слезинки.

– Я так до сих пор не знаю, кто там у них прав был, кто виноват... И, хоть убейте, понять не могу, зачем мы в их дела мешаться стали.

Павел Петрович был уверен, удивить его в этой жизни уже невозможно, и вот надо же: рассказ Павлика ошеломил.

Чем измерить человеческое страдание? И существует ли она, эта мера?

Сколько за коротенькую жизнь довелось испытать этому парнишке! Не приведи, Господи!

Когда старый, больной человек торопит смерть, чтобы та избавила его от страданий, это понятно, это естественно. Но, когда мальчишка, только-только начавший жить, хочет поскорее умереть, чтобы освободиться наконец от непрерывного, подавляющего все чувства, все мысли страха, с этим невозможно примириться. И нет в этом ничего героического, ничего достойного подражанию. Потому что это противоестественно, это ненормально!

Спросите любую мать, для чего в муках родила она сына. На страдание?.. На подвиг?.. На нечеловеческую муку?.. Для того, чтобы в двадцать лет он стал калекой?.. Чуть!.. Бред!.. Не для того вскормила она его своей грудью, чтобы сытый боров в Кремле решал, жить её сыну или умереть, а превратив парня в калеку, швырял ему под ноги жалкий пенсией, на который кроме чёрствой корки хлеба и глотка воды из колодца, ничего не купишь!.. И ведь умудряются при этом совесть свою покойной оставить и других учить, как жить должно!..

Ржавой копеечкой жизнь человеческая в нашей державе ценится!..

Молчание затягивалось, и повисшая в купе гнетущая тишина становилась невыносимой.

И тут, безучастно глядя на проплывающий за окном осенний пейзаж, Макаровна негромко запела:

"Ах ты, ночь ли, ноченька!
Ах ты, ночь ли бурная!
Отчего ты с вечера
До глубокой полночи
Не блистаешь звёздами,
Не сияешь месяцем..."

Тихо покачивая головой, она никого и ничего не замечала и, казалось, была здесь совсем одна. Протяжная печальная мелодия... и не песня даже, а тихий стон или плач, печальный рассказ о чём-то своём, потаённом. Она не жаловалась, не ждала ответа. Надо было ей выговориться, освободиться от всего того, что тяжёлым камнем лежало у неё на сердце.

Только русский человек может в горестную минуту запеть и вложить в песню эту всю свою непереносимую боль, всю душевную муку.

16

Алексей Иванович не спал: лежал на спине с открытыми глазами, смотрел в потолок, по которому зыбко скользили призрачные предрассветные тени, и, прислушиваясь к ровному, покойному дыханию Галины, лежащей рядом, размышлял...

Он никак не мог взять в толк, что притянуло его так порывисто и внезапно к этой мало-знакомой и в сущности чужой ему женщине?

После той памятной ночи в госпитале, когда впервые за три долгих военных года гвардии капитан Алексей Богомолов испытал радость жаркой женской любви, он и думать забыл о том, что такая любовь всё ещё существует на свете и может одарить его не меньшим счастьем, чем в молодые годы. И хранил в сердце своём тёплые радостные воспоминания и благодарность спасительнице своей, и в прямом, и в переносном смысле, военврачу второго ранга Наталье Большаковой.

Правда, он и тогда был уже не мальчик, но сейчас... Как-никак, а шестьдесят четыре в позапрошлом месяце стукнуло!.. Да-а, герой!.. Недаром говорится: "Седина в бороду, бес в ребро". И смех и грех!..

А если серьёзно?.. Как дальше-то быть?..

Разойтись в разные стороны, словно и не знали они друг друга вовсе? Дальние Ключи это тебе не столица, тут потеряться в человеческом муравейнике никак не полупится. Хочешь – не хочешь, а придётся иной раз по несколько раз на дню встречаться... И что же? Делать вид, что ничего между ними не произошло, а если что и было, то так... по нелепой случайности? Нет, шалишь!.. Не привык Богомолов, словно нашкодивший кот, прятаться в кустах. Не в его это правилах было.

Но что же делать?..

Стоит только поддаться минутному порыву страсти, и после отрезвления останется на дне души мутный осадок, и долго ещё не можешь освободиться от горького чувства вины и сознания непоправимой ошибки.

Ясно было одно – Галину он не любит.

Какая там любовь, если за все двенадцать лет, что прожил он в этих краях, он не то что ни разу не подумал о ней, но даже и не взглянул-то в её сторону. Все эти годы была она для него просто односельчанкой, не более того. Так что же?.. Выходит, одна только похоть потянула его к Галине?.. С этим он тем более примириться никак не хотел. Не мог.

И пытался оправдать собственное безрассудство одиночеством, потребностью в женской заботе, тоской и ещё многими другими разными обстоятельствами, хотя прекрасно понимал, все эти оправдания гроша ломанного не стоят.

Да-а, наблюдал ты, Алексей Иванович... Ох, наблюдал!

Он вспомнил, что так и не прочитал письма, принесённого Галиной накануне. Осторожно, чтобы не разбудить её, выбрался из-под одеяла и подошёл к столу. Почерк на конверте был ему совсем незнаком. Интересно, кто это? Он достал из конверта листок в клеточку, вырванный из школьной тетради.

" Дядя Лёша, здравствуй!..

Не удивляйся, пишет тебе твой племянник Павел, которого вы, наверное, уже похоронить успели. Но я, как видишь, выжил и на днях выхожу на свободу. Рассказывать тебе обо всех моих злоключениях не стану, ибо на это не хватит мне ни бумаги, ни времени. Как-нибудь при встрече. Отец Серафим дал мне твой адрес и даже советует приехать к тебе и пожить какое-то время. Но прежде мне необходимо съездить в Москву, чтобы оформить пенсию и жильё. Как только всё улажу, дам тебе знать и, если ты не против, действительно приеду в Дальние Ключи.

Дядя Лёша, если ты что-нибудь знаешь о судьбе Зинаиды, напиши мне в Москву: Центральный телеграф, до востребования.

Твой племянш Павел Троицкий.

Матери пока не говори, что я объявился. Впрочем, она, наверное, и знать обо мне ничего не захочет".

И всё. На одной тетрадной страничке треть жизни Павла Троицкого уместилась. Девятнадцать лет о человеке не было ни слуху ни духу, и вот хватило всего нескольких слов, чтобы он вновь возник из небытия.

Алексей оставил письмо на столе и, зябко поёживаясь, опять забрался под одеяло. Галина вздохнула во сне, повернулась на правый бок и вдруг открыла глаза:

– Который теперь час?

– Седьмой, думаю.

– Почему не спишь?

Алексей взглянул на неё, увидел сиявшие в полутьме глаза и тоже вздохнул:

– Я про письмо вспомнил, что ты давеча принесла, и вот... решил прочитать. Племянник мой объявился.

Она сладко потянулась и прижалась щекой к его плечу:

– Алёша, мне было очень хорошо с тобой.

Заныло раненое богомоловское сердце. Ни одна женщина на свете, кроме покойной матушки и погибшей жены, не называла его так ласково и просто: "Алёша..." Даже Наталья Большакова, подарившая ему вторую жизнь, за всё время их молниеносного фронтового романа обращалась к нему не иначе, как: "Богомолв". Может, считала, что в этом кроется особый шик, а может, просто стеснялась проявления неуместных на войне сантиментов?.. Кто знает? Но факт остаётся фактом – Алексей всегда был для неё только Богомоловым. И баста!.. Для прочего же народонаселения Дальних Ключей он во все поры был Алексеем Ивановичем. И вот, спустя столько лет, эта милая, одинокая, такая же неустроенная, как и он, женщина назвала, его забытым именем – "Алёшей". Опять к горлу подкатил комок, и Алексей Иванович то ли простонал, то ли промычал что-то в ответ. И только...

Да и что он мог ей сказать? Что не любит, но жалеет? Что благодарен ей за эту нечаянную ласку? Что хотел бы, но не может ответить ей тем же?

Галина приподнялась на локте, заглянула ему в глаза и неожиданно рассмеялась:

– Алексей Иванович!.. Да у тебя никак глаза на мокром месте?.. С чего это, милый?.. – и, не дождавшись ответа, стала целовать его лоб, щёки, губы. – Не волнуйся, голубчик ты мой... Не переживай так, родненький... И не думай ты ни о чём и ничего не загадывай наперёд...

– Да я и не загадываю, – буркнул Богомолв. Ему очень хотелось, чтобы разговор этот поскорее прекратился. Что толку в ступе воду толочь и оправдываться, когда наверняка знаешь, не поверят тебе.

– Знаю, не любишь ты меня, – продолжала Галина.

– Ну почему же?.. – ему бы помолчать, но дурацкая привычка постараться не обидеть, даже путём лукавства, всё же давала знать о себе.

Но она будто не слышала его:

– И что с того?.. Ты в мою сторону ни разу не поглядел. Это я, ненормальная, исподтишка за тобой всё подсматривала. И на что надеялась, дура?.. Да и не гоже бабе мужика силком за собой тащить...

– О чём ты говоришь?!.. – Алексей Иванович пробовал уныло сопротивляться.

– Помолчи. Тебя ко мне случай толкнул... Настроение такое было, что ласки мужику захотелось... Тепла... И мне с тобой очень хорошо было. Правда-правда... Я, поверь, ни о чём не жалею. Честное слово!.. Поцелуй меня... – и сама потянулась к нему.

Богомоллов не успел ответить: кто-то осторожно постучал в окно. Даже не постучал, а тихонько поскрёб ногтем по стеклу.

Алексей Иванович вздрогнул и жутко смутился. Не ждал он гостей, а в этот предрассветный час они и вовсе были некстати. Не то чтобы он боялся сплетен и разговоров, но очень уж не хотелось выставлять напоказ свою мужицкую слабость, не хотелось из-за неё порочить доброе имя Галины.

Зябко поёживаясь, он выбрался из-под тёплого одеяла и, быстро переступая босыми ногами по заледеневшему за ночь полу, подбежал к окну.

Однако сквозь запотевшие стёкла в слабом свете раннего утра ничего не смог разглядеть. К тому же густой туман напознал со стороны реки, и в его молочной пелене слабо проступали лишь призрачные очертания кустов и деревьев.

Алексей вышел на крыльцо:

– Кто здесь?..

– Тихо!.. Не шуми, – раздался совсем рядом знакомый голос, и из тумана показалось фантастическое видение...

Господи!.. Боже мой!.. Неужели... Иван?

– Ты чего перепугался так?.. Это я... Я... Здравствуй, Алёшка.

Алексей оторопел. Уж кого-кого, а этого человека он никак не ожидал увидеть на пороге своей избы.

– Что, не ждал?..

– Не ждал, – честно признался Алексей.

– Вижу, – чуть заметно усмехнулся Иван. – В избу не впустишь?

Алексей был в отчаянии!

Отказать Ивану он не мог. Впустить в дом, тем более. Да и как его теперь называть? По-старому Иваном или по-новому Владимиром, как прочитал он в милицейском протоколе?

– Что-то неласков ты, Алексей, сегодня – усмехнулся Владимир-Иван. – Или решил заморозить меня? Но я-то в сапогах, а ты босиком... Гляди, ноги совсем застудишь.

– Я... да... Я сейчас... Ты только погоди здесь на крыльце маленько... Я мигом, – лепетал Алексей, переминаясь с ноги на ногу и совершенно не представляя, как выпутываться из этого щекотливого положения.

– Ты что, не один в дому? – догадался нечаянный гость.

– В том-то и дело! – обрадовался Богомоллов. – Извини, друг.

– Да никак у тебя дама ночует?! – засмеялся тот. – Молоток, Алёшка!. Вижу, времени ты без меня даром не терял?.. Одобряю... – и тут же предложил. – Познакомь.

– И рад бы, но... сам понимаешь... время раннее, мы... если честно... спали ещё, – беспомощно лепетал совершенно сбитый с толку Алексей.

– Ничего, я пока в сенцах погодить могу... Да ты не смущайся, чудак-человек!.. Дело житейское... Или там кто-то из тех, кого я видеть не должен?

– Ладно, заходи, – махнул рукой Богомоллов и первым шагнул в избу.

Пока мужчины разговаривали на крыльце, Галина успела встать, одеться и теперь, стоя перед зеркалом, расчёсывала густые длинные волосы.

Переступив порог горницы, Иван прежде всего перекрестился на висевшие в красном углу иконы и только после этого поздоровался.

– Доброго вам утра, гражданочка. Прошу простить за причинённое беспокойство.

– С добрым утром, – просто ответила Галина, даже не обернувшись. К удивлению Алексея, который готов был сквозь землю провалиться от съедавшего его смущения, она, казалось, не испытывала никаких неудобств.

– Что же ты, хозяин?.. – Иван тоже был абсолютно спокоен. – Познакомь нас, а то как-то неловко получается.

– Да, да, конечно, – спохватился хозяин. – Вот... Это Галина Ивановна... значит. А это... – и тут осёкся: не знал, каким именем представлять раннего гостя.

– Да ты не тушуйся. Дело житейское, – рассмеялся тот. – Не забыл ещё, как меня зовут?..

– Помню!.. – в Алексее Ивановиче неожиданно остро заговорила обида, и, разозлившись то ли на пришлеца, то ли на самого себя, он тихо, но отчётливо произнёс: – Только подкажи, как тебя теперь величать? По паспорту, как в милиции тебя называют, или по-приятельски, как прежде между нами заведено было?.. А не то, неровён час... Я ведь и ошибиться могу.

В горнице стало как-то неуютно тихо. Галина, не очень понимая, что имел в виду Алексей Иванович, замерла с расчёской в руках, недоумённо поглядела на него. А тот смотрел на Ивана, не отрываясь. Ждал.

– Ишь ты!.. И в Дальние Ключи добрались?.. – затянувшееся молчание первым нарушил гость. – Что ж, этого след было ожидать. Любопытство у них чрезмерное, уши огромные, а руки... Такие длинные, такие загибающиеся!.. – и сокрушённо покачав головой, спросил: – Стало быть, и тебя они замели?

Алексей кивнул.

– Прости, Алёшка... Видит Бог, не хотел я, чтобы ты из-за меня пострадал, потому и назвался Иваном, потому и ушёл от тебя... След замести хотел, ан... не вышло... Обложили они меня со всех сторон... Как на волчьей охоте красными флажками обложили, не уйти... Не держи зла, – и, обернувшись к Галине, попросил: – И вы простите меня, Галина Ивановна... Некстати разбудил я вас, не вовремя пришёл, не думал, что Алексей не один ночует, вот и... Не сердитесь... А звать меня по паспорту Владимиром, это точно... Однако отец Серафим крестил меня Иваном. На день моих крестин в аккурат выпал Иоанн Богослов, так что, Алексей, ни в том, ни в другом случае обмана никакого нет...

Алексее Ивановичу вдруг стало невыносим стыдно за то, что обиделся, а потом и разозлился на Владимира... Впрочем, какого Владимира?!.. Ивана!.. Конечно, Ивана... Потому как святое имя, данное человеку при крещении, куда важнее имени светского, которое не Богом, а людьми даётся.

– Это ты меня прости, Ваня, – сказал и протянул руку. – Не знаю, что нашло на меня. Не сердись.

Иван пожал протянутую руку и улыбнулся:

– Эдак мы с тобой до вечера будем друг у друга прощения просить. Забудем, ладно?..

– Договорились, – согласился Алексей Иванович.

– Одного понять не могу: кто чекистам дорогу в Дальние Ключи показал?

– Есть тут у нас один пакостник... Вернее был...

– Не тот ли, кого нам с тобой давеча выпороть пришлось?

– Он самый.

– Да-а!.. Таких шкодников, как ваш Никита Сергеевич, одной поркой не охлонишь.

Через полчаса мужчины, позавтракав, пили чай. Галина, сославшись на необходимость перед работой забежать домой, ушла, отчего Алексей испытал радостное облегчение.

И тут за самоваром Иван наконец-то поведал ему невесёлую историю своей жизни.

Родителей своих он почти не помнил. Ему не исполнилось и шести лет, когда в дом его отца, купца первой гильдии, торговавшего мануфактурой в Орле и Туле, вломилась вооружённые люди в кожаных куртках с красными звёздами на фуражках. Первым делом они вывалили на пол содержимое всех сундуков, шкафов и комодов. Судя по всему, что-то искали, а нашли или нет, неведомо. Мальчишка запомнил, как грязными сапогами они безжалостно топтали белоснежное бельё, оставляя на нём жирные чёрные следы. Кожаные люди перерыли весь дом и, захватив с собой отца, ушли так же внезапно, как и появились. Больше отца никто из домашних не видел. Так и сгинул он, как говорили, в подвалах "чрезвычайки". Примерно

через полгода после этого налёта скончалась от тифа его мать, поэтому детская память сохранила о родителях лишь смутные обрывки воспоминаний.

Младших сестёр-двойняшек Танюшку и Любашку забрала к себе нянька Марина, которая в девчонках души не чаяла, а его как старшего, а стало быть, более готового к суровым жизненным передрягам, отдали в сиротский дом. Правда, в то время этот приют назывался уже коммуной и носил гордое имя "Второго Интернационала". Почему второго, а не первого, никто не знал, и что означало грозное слово "Интернационал", младшие воспитанники даже не подозревали.

Документы сироты то ли затерялись по дороге, то ли их попросту забыли на него выпи- сать, но так или иначе, а в колонии его вторично "окрестили", и стал новоиспечённый комму- нар шестого отряда Безродным Владимиром Александровичем.

Жизнь во "Втором Интернационале" была устроена на военный манер. Всех коммунаров разбили на отряды, выдали серую форму, более походившую на арестантскую робу, даже в столовую ходили они строем и хором пели революционные песни:

"Вихри враждебные веют над нами,
Мрачные силы нас злобно гнетут!"

По ночам Володька горько плакал, уткнувшись в жёсткую волосяную подушку и лишь под утро, забывшись коротким тревожным сном, видел в полубреду, как эти вихри враждебно клу- бились по углам спальни, злобно взвизгивали и хохотали над маленьким человечком, несчаст- нее которого не было на всём белом свете.

Но свет этот всё-таки не без добрых людей. И во "Втором Интернационале" нашлась добрая душа, пожалевшая горемыку-сироту.

В первом отряде из всех воспитанников выделялся Антон Сизов – высокий вихрастый парень с чёрными, как смоль, глазами. Он держал в страхе не только младших обитателей колонии, но даже начальство заметно его побаивалось и предпочитало с "Сизым", такая была у того кликуха, не связываться. По какой причине неизвестно, но Антон вдруг проникся необык- новенной симпатией к белоголовому пареньку из шестого отряда и сделал Безродного своим ординарцем. Тот служил ему беззаветно: стремглав кидался выполнять любое его поручение, не брезговал даже самой грязной работой, за что за обедом получал ещё одну кружку компота, а в праздники – лишнюю конфету или печенье. Плакать по ночам Владимир перестал и, хотя не знал ни одной молитвы, втайне, шёпотом призывал на помощь своему благодетелю всех ангелов небесных.

Так, благоденствуя под надёжной охраной Антона, он пережил в коммуне суровую голод- ную зиму двадцатого года. А весной, когда потянуло с юга влажным теплом и длинные острые сосульки стали ронять в рыхлый грязный снег крупные прозрачные капли, Сизый вызвал сво- его ординарца на откровенный разговор и предложил из "Второго Интернационала" бежать. Тот, не задумываясь, согласился.

Три недели они тайком ото всех сушили сухари, а в начале апреля поздней безлунной ночью, когда снег сошёл и установилась относительно сухая дорога, бежали из колонии. За ними, как водится, была устроена погоня, но недаром Антона уважало начальство. Он при- думал и осуществил очень простой, но довольно хитроумный план. Вместо того, чтобы поста- раться в первую же ночь как можно дальше убежать от погони, беглецы целую неделю сидели в двух шагах от ворот коммуны. Убежищем им служила старая заброшенная лачуга полевого сторожа. Вот для чего сушили они сухари и три недели обходились без хлеба.

Когда страсти, вызванные их побегом из колонии, улеглись, отважная двоица выбралась из своего убежища и устремилась к своей самой заветной цели – в Москву!

Добирались они в столицу преимущественно на крышах товарняков и, хотя путешествие это длилось больше месяца и сопряжено было со многими опасностями и приключениями, но в конце мая беглецы ступили, наконец-то, на брусчатку Каланчёвской площади, у трёх вокзалов.

Радости их не было предела.

Однако долго радоваться не пришлось, так как нужно было заботиться о хлебе насущном, и Антон взялся за дело.

Из таких же, как и они, безпризорников он в две недели сколотил крепкую шайку. Их было шестеро, и назывались они "форточники". Шныряя по улицам, они искали окно на первом этаже с открытой форточкой. Москвичи, несмотря на свой столичный гонор, довольно безопасны и частенько уходят из дому, не заботясь о безопасности своих жилищ. Так вот, найдя такое окно и убедившись, что в квартире никого нет, шайка Сизого приступала к "работе". Трое тут же становились на "атаке", двое подсаживали Володьку, а он, как самый маленький, пролезал в открытую форточку и либо открывал Антону входную дверь изнутри, либо через окно передавал своим товарищам всё самое ценное, что находил в доме незадачливых хозяев.

"Работа" эта приносила им довольно приличный доход. В роскоши они, конечно, не купались, но жили безбедно. Во всяком случае, не думая о куске хлеба с маслом. И такая безоблачная жизнь продолжалась почти всё лето.

Однако, сколько верёвочке ни виться, а кончик у неё всегда есть.

Однажды в конце августа Владимира по обыкновению затолкали через форточку в очередную квартиру, а там его приняли в свои объятия весёлые ребята из МУРа. Они давно охотились за шайкой Сизого и устроили в доме процветающего дантиста засаду.

Старших во главе с Антоном судили и отправили на четыре года в исправительно-трудовую колонию, а самого младшего, поскольку тому только-только исполнилось семь лет, и он никак не попадал под уголовный кодекс, повезли в очередную сиротскую коммуны, кажется, имени Розы Люксембург.

Безродный перезимовал у этой загадочной Люксембургской Розы, а весной, используя свой "форточный опыт", убежал от неё и вернулся в Москву. Прежние связи среди преступных малолеток у него сохранились, и очень скоро он прибил к новой шайке под водительством Хмыря-беззубого. У коренастого, совершенно рыжего Хмыря на самом деле были во рту всего два передних зуба, остальные ему выбили в какой-то жуткой драке. Он гнусавил, шепелявил и вообще выглядел весьма непрезентабельно. Но в данном случае внешность главаря не имела для Володьки никакого значения, так как "голод не тётка" и "хочешь жить – умей вертеться"! Эти две азбучные истины Хмырь накрепко вбил в светловолосую голову нового члена шайки. Затем научил его гнусавить и велел отрастить ногти на правой руке.

Банда Хмыря занималась тем, что нападала на одиноких хорошеньких дамочек. Выставив напоказ длинные грязные ногти и гнусая, что есть силы, одетые в жалкие лохмотья пацаны свирепо угрожали: "Отдавай сумочку, стерва, а не то сифилисом заражу!" Дамочки, как правило, страшно пугались и, отшвырнув сумочку от себя подальше, с криками: "Милиция!.. На помощь!.. Милиция!.." – пускались наутёк.

Эта "работа", конечно, была грязнее "форточной" и не приносила прежней азартной радости, но почти целый год Владимир верой и правдой служил Хмырю, и, без сомнения, опять попался бы в руки милиции, и вновь отправился бы в очередную коммуны, если бы не встретился на его жизненном пути совершенно необыкновенный человек Леопольд Карлович Вайс.

Этот стройный поджарый человек с гривой седых волос, покрывавших его нордический череп, очень гордился своей родословной. Он утверждал, что является прямым потомком обрусевших немцев из Лотарингии, попавших в Россию ещё в допетровские времена. Вот только в отличие от своих славных предков, гражданин Вайс занимался не вполне законным промыслом и был известен в милиции и воровских кругах под кличками "Немец" и "Немой". Попросту говоря, Леопольд Карловичем был вором-карманником высшей квалификации. Как

сочеталось его старинное дворянское звание со столь низким промыслом, он сам объяснить даже не пытался, но профессию свою очень любил и гордился славой непревзойдённого специалиста среди ведущих карманников страны.

Однако в то время, когда повстречался ему белоголовый отчаянный паренёк с небесно-голубыми глазами, гражданин Вайс отошёл от дел – проклятая глаукома заставила его отказаться от практической работы, и занимался он теперь лишь тем, что за умеренную плату давал уроки мастерства зелёной, неопытной молодёжи, ещё только начинающей свой путь в воровском деле.

Леопольд Карлович очень привязался к Володьке. Стал звать его на немецкий манер "Вольдемар", поселил в своей восьмиметровой комнатухе в коммуналке на Сретенке, а главное, передал начинающему коллеге главный секрет ремесла.

В пору расцвета своей карьеры Вайс "работал" под маской глухонемого. Выбрав "объект", а это был, как правило, человек из разряда состоятельных, солидных мужчин, Леопольд Карлович подходил к жертве и, протягивая записочку с заранее написанным адресом, просил указать ему дорогу. При этом очень натурально мычал и жестикулировал, изображая глухонемого. Импозантная внешность, тонкий аромат французского одеколona и холёные руки, за которыми Леопольд Карлович тщательно следил, внушали его собеседнику безграничное доверие, и тот начинал охотно втолковывать несчастному калеке, как пройти или проехать по указанному на листке адресу. Красавец немой, естественно, не сразу понимал, что ему говорили, отчего объяснение затягивалось, через минуту-другую оба переходили на язык жестов, в воздухе начинали беспорядочно мелькать руки, слышались одни междометия, но, наконец, всё разъяснялось, и довольные друг другом собеседники расходились каждый в свою сторону. При этом "немой" уносил с собой не только приятные воспоминания о трогательной встрече с милым доверчивым человеком, но также портмоне, карманные часы, а случалось, даже обручальное кольцо или массивный золотой перстень с пухлой руки наивного буржуа.

Чтобы овладеть таким фантастическим мастерством, конечно, требовалось время, а главное – талант, который у юного Вольдемара, несомненно, был. Азбуку жестов он освоил необыкновенно быстро. Мычать, еле выговаривая обрывки слов, труда для него не составило, потому что актерскими способностями Володька тоже обладал, и даже в избытке. Хуже обстояло дело с руками. Парнишке никак не удавалось молниеносно извлечь из кармана своего учителя увесистый кошелёк. Тот в самый неподходящий момент либо выскальзывал из слабых мальчишеских пальцев, либо предательски застревал где-то в глубине кармана и никак не хотел вылезать наружу.

Но недаром говорится: "Терпение и труд всё перетрут!" Вольдемарушка грыз гранит воровской науки до седьмого пота, без каникул и выходных, и такое усердие дало знать о себе. Примерно через полтора года после начала обучения профессор решил вывести ученика "в люди". Местом для практических занятий он выбрал площадь у трёх вокзалов. Тут кишмя кишел человеческий муравейник, в котором легко было затеряться при случае и где чаще, чем в других местах, попадались ошалевшие приезжие, оглушённые столичным шумом и суетой.

Правда, первый опыт чуть было не закончился плачевно. Заметив на своей законной территории новое лицо, старые карманники поначалу решили проучить его как следует, но, увидев, под чьим прикрытием "работает" белоголовый паренёк, тут же ретировались. В результате новичок так ловко обработал упитанного нэпмана, что тот не заметил, как лишился серебряных часов на массивной, опять же серебряной, цепочке и кошелька, в котором денег было немного, но в данном случае учителя волновала не прибыль, а практический результат, а он превзошёл все его ожидания.

Через две недели Володька начал "трудиться" уже самостоятельно и сразу же снискал среди заслуженных ветеранов воровского цеха уважение за сметливость и удивительную для столь юного возраста расторопность.

Учитель счёл свою миссию в этой жизни выполненной – он воспитал достойного ученика, который в будущем обещал затмить славу своего учителя. Вайс совсем отошёл от дел, даже перестал давать уроки будущим обитателям советских тюрем и лагерей и лишь тихо радовался успехам своего любимого Вольдемара. Тот оказался благодарным человеком и всецело принял на себя заботы о престарелом учителе. Так, душа в душу, они прожили вместе несколько лет, пока проклятая глаукома опять не дала знать о себе. Только на сей раз страшным, безжалостным образом. К тому времени Леопольд Карлович почти совершенно ослеп, вследствие чего безславно погиб под колёсами авто, когда один, без Володькиной помощи, пытался перейти шумную Сретенку.

Похоронив любимого профессора на Немецком кладбище и справив по нему типично русские поминки, Владимир зажил самостоятельно. Будущность рисовалась ему безоблачной, в голубых тонах, но тут в привычное течение его жизни опять вмешался случай, а может быть, Божий промысел, кто знает, – и судьба его в очередной раз совершила крутой поворот.

Пасху тысяча девятьсот тридцатого года он решил встретить в маленьком храме возле Петровского монастыря. Раз в год, а именно в ночь Светлого Христова Воскресения, Володя обязательно ходил в церковь, и хотя не исповедовался и не причащался, но стоял всю службу где-нибудь в сторонке от начала и до конца всенощного бдения и обращался к Богу со своей, лично им сочинённой ещё в годы его детских мытарств молитвой:

"Господи! Прости меня. Я жуткий грешник. Прости, Господи! Сам знаю – плохо живу, но, поверь, не потому, что хочу плохо жить, а потому что я круглый сирота и всё у меня так неудачно сложилось. Прости меня, Господи!.. Прости меня, грешника!.." – и трижды осенял себя крестным знамением. И слёзы наворачивались на глаза его, а на сердце становилось легче и просторней. Оно словно умывалось невинными слезами, и вся накипь, всё житейское непотребство, что налипла на его мальчишескую душу смывалось, как смывается в весенний разгул спрятанная до поры, до времени прошлогодняя грязь.

Но в этот раз смутное беспокойство, ожидание чего-то нового, непривычного не проходило. Владимир недоумевал, нервничал, никак не мог привести себя в порядок и не знал, с какой стороны ждать перемены, с хорошей или дурной.

Хор громкогласно торжествовал:

"Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!.."

А он тревожно оглядывался по сторонам, словно искал кого-то. И казалось, этот кто-то стоит за его спиной, и всё видит, и всё о нём знает, и вот-вот коснётся его плеча и поведёт за собой. Но куда?!.. Зачем?!.. На муку?!.. На новое испытание?..

Мысли разбегались в разные стороны, он никак не мог сосредоточиться, не мог, как это случалось с ним прежде, испытать в эту Святую Ночь всепоглащающего чувства покоя...

Служба закончилась. Верующие потянулись к святой чаше причаститься. Владимир постоял ещё немного возле иконы Казанской Божьей Матери, потом, по-прежнему испытывая неловкое беспокойство, вышел на улицу.

– Христос воскрес!.. – голос, раздавшийся рядом с ним, был тихим, ласковым.

Владимир вздрогнул и обернулся. В двух шагах от него стоял высокий худой человек с ясными серыми глазами. Неведомо почему, но, лишь коротко взглянув на него, можно было сразу определить, что он имеет к священству самое прямое отношение.

– Воистину воскрес!.. – машинально ответил Володька и ощутил прикосновение мягкой пушистой бороды к своей щеке.

– А я ведь и вправду давеча подумал, что ты, друже, глухонемой, – сказал незнакомец и улыбнулся.

И тут Володька вспомнил!.. Позавчера, около восьми часов вечера, у Казанского вокзала он вытянул из кармана у этого улыбчивого, добродушного человека потёртый кожаный коше-

лёк, а из-под рубашки сумел стянуть золотой нательный крестик на золотой цепочке. Он густо покраснел и опустил голову. Больше всего на свете Володька опасался именно такой встречи. До сих пор судьба была к нему благосклонна, и вот...

Лучше бы ему сквозь землю провалиться!.. Вот на этом самом месте!..

– Я ведь грешным делом решил, что кошелёк на базаре выронил, а крестик потерял, когда в трамвай садился, такая там давка была... Ан, нет!.. Ловко ты меня облапошил!.. Ловко!.. Я и усомниться в тебе ни за что не посмел бы!..

Что было поразительнее всего, обворованный человек совершенно не сердился. То есть абсолютно!.. Больше того!.. Он, казалось, неподдельно восхищался воровским мастерством Безродного и искренне радовался, что судьба свела его с ним ещё раз...

Никогда прежде не испытывал лучший ученик Леопольда Вайса такого жгучего стыда.

– Я вам и крестик, и кошелёк... Я вам всё верну... Только скажите, куда принести, – лепетал несчастный вор.

– Это уж само собой, – согласился довольный потерпевший. – Но не сейчас же ты за добром моим побежишь. Прежде мы с тобой... Тебя, кстати, как зовут, раб Божий?..

– Владимир...

– А меня Серафимом *кличут*. Будем знакомы... Так вот, раб Божий Владимир, прежде нам с тобой разговеться надобно. Я тут поблизости у приятеля квартирую. Мы с ним ещё в семинарии подружились. Он, правда, от священства ныне отошёл, в какой-то конторе штаны протирает, но прежнего приятельства не забыл. Тебя он, разумеется, в гости не ждёт, но с моей рекомендацией, на улицу не выгонит. Можешь не волноваться... Что молчишь?.. Пошли?..

И вдруг Володьке стало удивительно легко и покойно!.. Тревожное чувство надвигающейся беды безследно исчезло, и он неожиданно даже для самого себя согласно кивнул головой:

– Пошли.

После обильной трапезы у Михаила Дмитриевича, приятеля отца Серафима, днём в Светлое Христово Воскресение Володя Безродный забежал в свою комнатку на Сретенке, собрал из пожитков только самое необходимое, прихватил украденный крестик и кошелёк и с Ярославского вокзала уехал с отцом Серафимом дневным поездом из Москвы.

Иван замолк, переводя дух.

Уже давно рассвело, слабый свет серого осеннего утра вполз в комнату, а мужики всё так же сидели за столом друг напротив друга перед остывшим самоваром.

Богомоллов вздохнул, покачал головой.

– Так вот значит при каких обстоятельствах ты с отцом Серафимом познакомился!..

– Да, старина. Обстоятельства, прямо тебе скажу, не самые весёлые. Но что было, то было. Из песни, как говорится, слова не выкинешь. Мне тогда семнадцати ещё не исполнилось, и глуп я был и какой гонор имел, а батюшке в одночасье поверил. Сразу и навсегда.

– А куда вы из Москвы подались?

– В те поры у отца Серафима приход был на речке Чусовой. Вот мы с ним на Урал и отправились. Как приехали, отец Серафим первым делом крестил меня. Я-то не знал, как при рождении наречён был. А батюшка и говорит: "Так не гоже. Тебе ангел-хранитель, может, более, чем кому другому, надобен". И крестил Иваном. Вот так у меня два имени появилось. Одно – милицейское, другое – небесное. Я при нём вроде послушника состоял. И в хоре пел, и полы мыл, и часы читал, и алтарником, даже могилы копал и прочее такое... Никакой работы не чурался. Зато какая благодать на меня сошла, не передать тебе!.. Бывало, проснусь и думаю: за что мне, подлецу, счастье такое дадено?.. Прежде, в фартовые времена, я и предположить не мог, что молитва и пост человеку в радость. Издалека они мне всегда наказанием казались, представь себе. А ведь батюшка никаких нотаций мне не читал, перстом указующим никогда не

грозил. Бывало, откроет молитвенник и тихонько так читать начнёт, а я рядом устроюсь, и всё у нас как-то само собой получалось. Оттого, думаю, и принял я веру с радостью, без натуги...

Скрипнула входная дверь, стукнула щеколда, и в дверном проёме возникла грузная фигура очнувшегося Герасима Седых. Он с трудом держался на вихляющихся ногах, и видно было, как ему муторно, как гадко с похмелья. Мутно поводя заплывшими глазами, он прохрипел:

– Живые есть кто?

– Герасим Тимофеевич, прости дорогой, я совсем про тебя забыл... – начал было оправдываться Алексей Иванович, но Седых не дал ему договорить:

– Пить! – бывший председатель колхоза медленно сполз по дверному косяку на пол. – Пить...

И куда только девался его густой раскатистый бас?!.. Голос Герасима звучал тонко, безпомощно.

– Дай ему рассолу из-под квашеной капусты, – посоветовал Иван. – Я слышал, помогает.

– Пить!.. – опять взмолился несчастный.

– Рассол ему вряд ли поможет. Тут надо что-то более существенное употребить, – Богомоллов в сомнении покачал головой. – Ваня, в бане водка осталась. Будь другом, принеси, а я пока рассолу ему всё-таки нацēju.

Пока Иван ходил за водкой, а Алексей цедил из бочки рассол, Седых, раскидав босые ноги по полу, утробно стонал и ритмично бился головой о дверной косяк.

– Эка тебя угораздило!.. – сокрушался Алексей, поднося к дрожащим губам Герасима кружку с рассолом. – Ты ведь и не пил никогда. Я, по крайней мере, не замечал, и вдруг!..

С початой бутылкой в избу вернулся Иван.

– Там ещё одна нетронутая стоит, но, думаю, ему за глаза и этого хватит.

Увидев водку, Седых застонал, как раненый зверь, замотал головой и взревел всей силой утраченного было баса:

– Не буду!.. Режьте меня!.. Душите!.. Что хотите, делайте!.. Ни капли этого зелья в рот не возьму!.. Ни за что!.. Ни в жисть!..

– Чудак-человек!.. – начал резонировать его Алексей Иванович. – Я ведь тебе не выпивку предлагаю...

– А что же? – изумился Герасим.

– Я тебе помочь хочу, – Богомоллов налил четверть стакана и протянул несчастному. – Лечись, бедолага.

Тот опять замотал головой.

– Не могу!..

– Выпей... Выпей, – поддержал приятеля Иван. – Для тебя сейчас это вроде микстуры... от простуды, – и рассмеялся.

С огромным трудом они все-таки уговорили бывшего председателя принять в себя дружескую помощь – столь необходимое в его состоянии лекарство.

Седых отбрыкивался, судорожно отворачивал голову от стакана, словно туда налит был нашатырный спирт, стонал, даже звал на помощь маму, но когда, наконец, невероятным усилием воли затолкал в себя пятьдесят граммов и ощутил, как по всем жилочкам его огромного тела разлилась мягкая тёплая волна, с благодарностью посмотрел на своих спасителей и прошептал:

– Хорошо-то как, братцы!..

Мученическая складка на его переносице разгладилась, и видно было, какое блаженство довелось ему только что испытать.

– Ну, вот и ладно, – Алексей Иванович был искренне рад. – А теперь, Герасим Тимофеевич, давай, полезай на печь. Думаю, за ночь она остыть не успела, а тебе после всего пережитого подремать надо. Не волнуйся, часа через полтора я тебя разбужу...

– Да, да... Конечно... Я сейчас... Я даже с удовольствием, – умиротворённо пролепетал спасённый и полез на печь.

– Как водка человека ломает!.. Я ведь помню, большой, сильный человек был и вдруг в одночасье в жалкое подобие самого себя превратился. Карикатура, да и только!.. – Иван потрогал остывший самовар. – Может, ещё чайку, как мыслишь?..

– Его вчера из партии исключили, – Алексей взял самовар со стола, чтобы отнести в сенцы. – Вот он и решил горе водкой залить.

– Да разве это горе?!..

– Для него – огромное. Не удивляйся, Иван, он не один такой... искалеченный.

– Я не удивляюсь, друже, я сокрушаюсь.

Через полчаса самовар закипел, и за чаем Иван продолжил рассказ о своих злоключениях.

Жили они с отцом Серафимом тихо и спокойно. Когда Ивану исполнилось двадцать четыре, захотел он постричься в монахи. Попросил у батюшки совета, тот благословил и начал потихонечку готовить его к такому важному, такому исключительному в жизни каждого верующего человека событию.

Но тут случился тридцать седьмой год.

Кто-то из прихожан поддался дьявольскому искушению и написал на отца Серафима донос: мол, не любит наш батюшка дорогую советскую власть. В те поры многие этим литературным жанром баловались. Приехали два чекиста или по-новому – энкаведешника, маленькую церквушку на речке Чусовой закрыли, наверное, чтобы большую любовь к советской власти внушить. Хорошо ещё, не арестовали, а так... Попугали только, но из дома в двадцать четыре часа выгнали, не дали даже вещей толком собрать. И пришлось отцу Серафиму с Иваном по чужим людям мыкаться, пристанища искать. Первые две недели они в соседнем селе у бывшего прихожанина обретались, потом подались в Пермь. С архиереем батюшке побеседовать не удалось, но всё же приема у благочинного он добился. Тот ему посочувствовал, но в новом назначении отказал, и вывели отца Серафима за штат. И не по злему умыслу отказал, а потому лишь, что церкви одна за другой закрывались и приходов с каждым днём всё меньше и меньше не только в епархии, но и по всей России становилось.

Что тут делать? Куда податься?..

Поехали в Москву. Как это ни покажется странным, но комната Ивана в Даевом переулке стояла нетронутая, как будто хозяин только вчера из неё выехал. В ней они и обосновались. Батюшка тут же принялся разыскивать своих однокашников-семинаристов. Да куда там?!.. Кого расстреляли, Михаила, с которым они семь лет назад Пасху встречали, два года уже как на Соловки отправили, иных в ссылку уехали, а кто сам за границу уехал: из большевистского рая, сломя голову сбежал.

Положение, честно говоря, было отчаянное. Ни одной родной души рядом, и бродили они по Москве-матушке, словно по пустыне. Два неприкаянных человека. Денег у них в обрез было: и на еду, и на транспорт выходило всего 10 рублей на двоих, а потому жили они впроголодь, и Иван уже втайне подумывал, а не вспомнить ли ему своё прежнее ремесло.

Но как иногда нечаянная встреча может повернуть жизнь человека!

Летом тридцать восьмого года в день обретения мощей Сергия Радонежского поехали они в лавру, чтобы поклониться мощам преподобного, и в поезде случай свёл их с удивительным человеком – отцом Антонием. То, что напротив у окна сидел священник, они уга-

дали сразу. Как потом пошутил батюшка: "Поп попа видит издалека". А на обратном пути уже твёрдо знали, что нашли, наконец, человека, которого так долго и безуспешно искали.

Слово за слово, и, разговорившись, они ещё по дороге в лавру открыли схожесть судеб своих.

Антон Сахаров был на шестнадцать лет моложе отца Серафима и семинарию закончил почти сразу после октябрьского переворота, летом восемнадцатого года. Как сам он говорил, "страшное, но интересное времечко было – мученичество очищало церковь". Если приходила новость, то всегда плохая, а чаще, очень плохая, ещё чаще – ужасная!.. Родители Антона погибли, ничто иное с миром его не связывало, и он решил: единственный выход – монашество. И вот постриг, а следом – арест, лагерь и ссылка. Словом, "всё, как у людей".

Когда из ссылки вернулся, пал архиепископу в ноги – возьмите на службу, а тот руками развёл: прости, брат, и рад бы, да не велено мне сидевших в штат брать. Кем не велено, так и не уточнил, да Антоний и спрашивать не стал. И так всё яснее ясного.

Отправился на родину, в маленький городок в самом центре России, случайно повстречал на улице давнишнего знакомого, и тот устроил его кочегаром в котельную на Большой Советской улице. Ох, и доброе это времечко было!.. Приятно вспомнить. Он в котельной не только работал, но и жил в тепле и покое. Никто за ним не следил, никто мелочными заботами не докучал. И помолиться, и попеть в одиночестве можно было. Славно!.. Одно плохо – очень уж служить хотелось!.. Но как?!.. Ни облачений, ни служебника, ни требника, а главное, антимины у него не было. И приходилось уповать на Господа, что поможет, не оставит Своим попечением.

И вот однажды вьюжной февральской ночью свершилось!..

Постучался к нему в подвал незнакомый человек и прежде, чем объявить причину своего визита в столь поздний час, поинтересовался, действительно ли Антон поп? Так и сказал: "Тут по городу слухи ходят, что кочегаром у нас поп работает. Не врут люди?" Пришлось правду сказать, хотя мог он этим признанием своему благополучию повредить: кто знает, зачем незнакомец его прошлым интересуется?.. Оказалось, неспроста.

Полупив утвердительный ответ, пришедший вышел на минутку за дверь и внёс в кочегарку приличных размеров сундучок, обитый коричневой кожей. Поставил на стол, вставил в замок витой бронзовый ключик, открыл и сказал: "Вам". И больше ничего.

Антон заглянул в сундучок и ахнул!

Изнутри крышка раскладывалась и превращалась в маленький иконостас. Внутри уложены белые ризы. Под ними деревянная переборка, в которой пристёгнуты служебное Евангелие, требник и служебник, а под Евангелием, как и положено, в илитоне лежит антимины!.. А дальше больше – и крестильный набор, и евхаристическая посуда, и даже дароносительница!.. Всё, что для службы надобно, – полный набор!

Антон поднял изумлённый взгляд на своего удивительного гостя, и тот разъяснил ему происхождение этого богатства.

Сундучок этот оставил его набожной матери священник. Вероятно, предчувствовал, что дни его сочтены, и решил схоронить дорогую вещь у верной прихожанки. А уходя, наказал: "Отдашь тому священнику, который выживет и первым из лагерей вернётся". Старушка волю его исполнила, потому как для неё этим первым оказался Антоний.

Счастье-то какое! Ему хотелось поскорее остаться одному, чтобы получше рассмотреть полученные сокровища. Но гость не уходил.

"У меня просьба к вам, отче. Матушка моя плоха, вот-вот Богу душу отдаст, так не могли бы вы соборовать её и отпеть?.."

Отец Антоний, конечно, согласился и этой же вьюжной ночью после восьмилетнего перерыва совершил первую потребу.

Так началось его тайное служение и продолжается вот уже десять лет. Кочегарку свою он со временем оставил, переехал в маленький домик на окраине, который подарила ему ещё одна богобоязненная старушка. У него сложился настоящий приход из людей, которых объединяет не адрес храма, а духовное родство. И, хотя не просил Антоний своих прихожан скрываться от властей, держать в тайне место, где совершаются службы, но за все эти годы его ни разу не побеспокоили, ни разу не вызвали, что называется, "на ковёр".

Узнав о злключениях отца Серафима и Ивана, отец Антоний тут же в поезде пригласил их к себе, и они с радостью пошли за ним.

Радоваться им, правда, недолго пришлось. То ли кто донос написал, то ли выследили их, но не успели они обжиться на новом месте, как в их маленький домик на окраине нагрянули энкаведешники. Обоих священников увели с собой, а Ивана попросту выгнали на улицу, дав на сборы десять минут. Отец Серафим успел шепнуть ему, чтобы он случайным гостем прикинулся. И ведь подействовало! Оттого, может быть, что прописка в паспорте у гражданина Безродного была московская. Иван долго не раздумывал, какие вещи с собой прихватить. Заявил, что драгоценный сундучок отца Антония его собственность и вместе с ним вышел из дому. В Москву, правда, не поехал, а отправился по известному уже адресу – в котельную на Большую Советскую. Там, помогая деду Прохору согреть обывателей этой замечательной улицы, Иван затаился на целых три года. Надежда на то, что Серафима и Антония быстро выпустят из энкаведешных застенков, была небольшая, но всё же он терпеливо ждал – а вдруг, – но так и не дождался.

Началась Великая Отечественная война.

Иван вернулся в Москву. Повестку из военкомата он ждать не стал, явился на призывной пункт добровольно и уже через полтора месяца попал на фронт. А ещё через неделю – в окружение. Пробивались они к своим больше месяца, а когда, наконец, шестнадцать оборванных, оголодавших красноармейцев вышли к своим, то тут же угодили под трибунал. За что, никто из них понять не мог. По приговору молоденького лейтенантика, что ими командовал, расстреляли, а пятнадцать чинов низшего состава отправили в штрафбат. В конце сентября под Вязьмой попали они в жуткую переделку, в бою штрафника Безродного первый раз ранило. Провалился он в госпитале больше месяца. Ни ордена, ни медали он за совершённый подвиг не получил, но зато, когда вернулся в строй, узнал, что из штрафбата его перевели в обычный полк.

Воевал он все четыре года, дважды ещё был ранен и закончил войну в небольшом венгерском городке со смешным для русского уха названием Папа. В сорок пятом Владимир Безродный был уже старшим сержантом разведроты, и на его выцветшей гимнастёрке красовались орден "Славы" 2-й степени и четыре медали. Одна из них – "За отвагу". А эту медаль за красивые глаза на фронте никому не давали.

Но дождаться дня Победы в рядах действующей армии Ивану не довелось. Десятого апреля командира взвода, в котором служил Иван, тяжело ранило, а двенадцатого из госпиталя пришла страшная весть: полный кавалер ордена "Славы", гвардии старшина Борис Сидорович Кузмичёв, а попросту – Кузмич, – скончался. К потерям на фронте не привыкать стать, но тут был совершенно особый случай. Кузмича не просто любили, он был для всего взвода отцом и мамкой одновременно. Его смерть потрясла видавших разные виды солдат, многие плакали, не стесняясь, не пряча зарёванных лиц. А двадцатого, на девятый день, собрались всем взводом, чтобы выпить за помин души своего любимого командира.

Честно говоря, ребята крепко выпили, и, когда их "накрыл" новый командир взвода Славик Синицын, розовощёкий лейтенантик, только что присланный к ним из училища, вместо погибшего Кузмича, все, как говорится, были уже "сильно взявши". По-разному люди свой авторитет утверждают. Одни – мудрым терпением и тактом, другие – силу свою не характером, а глоткой доказать стараются. Славик Синицын, не успевший ещё понюхать пороха, был из

таких. Застав подчинённых за непредусмотренным уставом занятием, он не только на бывалых фронтовиков кричать начал, но даже ударил по лицу Фёдора Смагина, когда тот его подалше послал к хорошо всем известной маме. В другое время, может, и стерпел бы Фёдор такую обиду, но тут не выдержал. Ведь он почитай всю Россию и пол-Европы пузом своим пропахал и войну не только на картинках и в киношке видел!.. Развернулся Смагин и так смачно врезал салаге-лейтенанту, что тот кувырком в конец комнаты отлетел и, размазывая по лицу кровавые сопли, злобно прошипел: "Ах, так?!.. Ну, ничего, вы меня ещё не раз вспомните!.." – и быстренько ретировался. Однако слово своё, подлец, сдержал. На другой день весь взвод в полном составе был арестован "за нанесение тяжких телесных повреждений командиру", как говорилось в постановлении. Так Владимир Безродный вторично попал под трибунал.

Доказать вину всех солдат взвода мерзавцу лейтенанту всё же не удалось, большинство из них оправдали, но двоих – Фёдора Смагина и Владимира Безродного, – лишив всех боевых наград, всё же упекли. Первого за потрясающий апперкот – на четыре года, второго – на три. За то только, что уже "висел" на нём штрафбат в сорок первом. Стало быть – рецидивист.

И надо же такому слупиться, что первым, кого встретил Иван в колонии общего режима, куда его отправили по приговору трибунала, был отец Серафим! Побритый наголо, невероятно худой, но всё такой же улыбчивый, такой же неунывающий, как и прежде.

Неисповедимы пути Господни!

Как они обрадовались друг другу при встрече!..

Кому-то может показаться странным, что люди в таком месте радоваться могут, но так уж устроен человек: в любой ситуации он повод не для уныния, а для радости ищет. Иначе – смерть.

Поэтому жизнь за "колючкой" показалась Ивану не такой безпросветной, какой она большинству эков представляется. Три года прошли не то чтобы незаметно, но с изрядной пользой, так Ивану казалось по крайней мере. В колонии была хоть и небольшая, но довольно приличная библиотека русской литературы, и Иван запоем читал Пушкина, Тургенева, Гончарова, Гоголя. По вечерам часами беседовал с отцом Серафимом. Расспрашивал, соглашался и вновь подвергал сомнению, спорил и чувствовал, как с каждым днём расширяется его кругозор, как проясняется в голове и многие вещи, казавшиеся ранее недоступными для понимания, становятся ясными и простыми.

Здесь, в колонии, отец Серафим опять начал готовить Ивана к пострижению в монахи, и, когда в сорок восьмом Безродный вышел на волю, дальнейший путь для него был чётко определён – в монастырь.

Пора оголтелого безбожия, казалось, закончилась навсегда. После беседы патриарха Алексия со Сталиным, а слухи об этом доходили даже на фронт, одна за другой начали открываться церкви, монастыри, и потому потребность в священнослужителях была огромная. Конечно, без высокой политики тут не обошлось, но какая разница верующему человеку, из каких соображений открывается храм Божий? Главное – наконец-то есть место, где можно не таясь помолиться, свечку поставить.

Получив благословение, Иван стал монахом. Мечта его исполнилась, и он, грешным делом, решил, что теперь за монастырскими стенами жизнь его успокоится и ничто уже не ввергнет его в пучину мирских страстей.

Однако не тут-то было. Новое испытание приготовил для него Господь.

Полгода назад послал его игумен, отец Симеон, в командировку в Москву. И вот, управившись со всеми делами, сидел Иван в зале ожидания Курского вокзала: до отправления поезда три с лишним часа оставалось, а бегать по шумной, суетливой Москве вовсе не хотелось и так за день набегался. Сидел он, значит, и не спеша читал потрёпанную книжицу, что прихватил с собой в дорогу из монастырской библиотеки – "Житие преподобного Серафима Саровского", как вдруг услышал рядом с собой кислый запах застарелого перегара и хриплый

испитой голос: "Володька! Да ты никак монахом заделался?!" Поднял глаза и не сразу, с трудом, но всё же признал в обросшем недельной щетиной человеке своего фронтowego друга Фёдора Смагина. Тот крепко обнял его, троекратно расцеловал и почти сразу, не дав Ивану опомниться, сказал как отрезал: "Встречу нашу обмыть надо! У тебя деньги есть?" – "Есть," – ответил опешивший от такого напора Иван. – "Угощай!" – распорядился Фёдор, и они отправились в вокзальный ресторан.

Там, сидя за столиком, покрытым мятой, давно не стираной скатертью, Смагин, торопясь, перескакивая с пятого на десятое, рассказал ему всё, что случилось с ним после той минуты, как зачитали им приговор военного трибунала.

История эта длинная, всего сразу не перескажешь, но коротко выглядит она так: в лагере Фёдор сидел не четыре года, а семь, ему за драку с поножовщиной ещё сверх срока трёшку намотали когда вышел, работу найти не мог; он ведь, кроме того, как безшумно "языка" взять, ничего другого на гражданке делать не умел, вот по сию пору и перебивается случайными заработками; при вокзале найти их легче – тут всегда что-нибудь да подвернётся; пить начал сразу, как вышел, и бросать это занятие не собирается; семьи нет, денег тоже – словом, "езде полный абажур наблюдается".

Иван слушал, жалел приятеля, сокрушался вместе с ним, но, честно говоря, хотел поскорее расплатиться с официантом, встать и уйти. Но как тут уйдёшь, если Фёдор, опустошив один графинчик, попросил заказать ещё, и по всему видно было, отпускать Ивана на волю он не намерен.

Официант принёс новый графинчик с водкой, на всякий случай положил на стол счёт, придавив его к скатерти пустой солонкой, и отошёл к служебному столику, делая вид, что очень занят серьёзными математическими расчётами: странные посетители – монах и нищий – абсолютно не внушали ему доверия. А ведь прав оказался, словно в воду глядел!

В ресторан вошла парочка – щеголеватый майор с малиновыми петлицами на кителе и молоденькая фифочка в какой-то немислимой шляпке на голове. Что заставило Ивана посмотреть в сторону вошедших непонятно, и уж совсем необъяснимо, зачем он толкнул Фёдора под локоть и еле слышно прошептал: "Гляди, никак знакомый наш. Узнаёшь младшего лейтенанта?" Смагин мотнул головой в ту сторону, куда указал Иван, и прохрипел, стиснув в ярой ненависти кулаки: "Какой сюрприз!.. Синичка к нам залетела!.." Потом резко вскочил, опрокинув стул, и нетвёрдой походкой на вихляющихся ногах направился к малиновому майору. Иван хотел крикнуть ему: "Не надо, Фёдор! Стой!" – но крик застрял у него в глотке.

"Здорово, Синичка! – Фёдор с размаху плюхнулся на стул рядом с нарядной фифочкой. – Давненько мы с тобой не виделись, Славик! Как поживаешь?.."

Брезгливая мина на лице майора сменилась удивлением, а следом судорога животного страха перекосила его гладковыбритое лицо.

"Смагин, ты?.." – еле слышно пробормотал он. – "Угадал!" – обрадовался Смагин. – "Славочка, убери отсюда это животное," – дамочка поджала свои ярко накрашенные губки. – "Помолчи, падла! – Фёдор что есть силы шархнул кулаком по столу, отчего фифочка тихо стала сползать со стула, а он, улыбаясь, ласково обратился к её кавалеру: – Выйдем на минутку, поговорить надо!.."

Иван понял, скандала не избежать. Схватив счёт, он почти бегом бросился к официанту. Майор, белый, как полотно, медленно поднялся из-за стола. "Не надо скандалить, Смагин... Нехорошо... Лялечка, подожди меня, я сейчас..." – и вместе с Фёдором направился к выходу.

Кошелёк, как назло, застрял в кармане брюк, и, пока Иван доставал его из-под рясы, прошла, казалось, целая вечность. Но, когда он, наконец, расплатился и выбежал в холл, там не было ни души. Безродный кинулся в одну сторону, потом в другую и в растерянности остановился. Понял, лучше здесь подождать: рано или поздно они должны объявиться. И точно, через несколько минут из ресторанного туалета вышел Фёдор.

Но он был один.

Иван почуял недоброе.

"Где майор?" – "Там... отдыхает", – усмехнулся довольный Смагин и кивнул головой в сторону двери, на которой чернела большая буква "М". Однако, руки у него дрожали.

Иван бросился в туалет и сразу увидел: из дальней кабинки торчала неестественно согнутая нога в начищенном до зеркального блеска офицерском сапоге. С гулко бьющимся сердцем он заглянул за перегородку. Славик Синицын лежал на полу, а из груди его торчала мельхиоровая вилка, которой Фёдор пять минут назад ковырял салат оливье. Как Иван не заметил, что Смагин, прежде чем выйти, прихватил её со столика в ресторане?!..

– Таким образом, я в очередной раз по уши увяз. Во всесоюзный розыск меня объявили, у всех милицейских участков фотографии развесили. Ты случаем не видал? – поинтересовался Иван.

– Фотографию эту я в твоём деле видел. Мне в милиции следователь Семивёрстов показал. Не знаешь такого? – теперь для Алексея Ивановича всё в деле Ивана стало ясно.

– Как не знать! Он и меня... допрашивал, – с горькой усмешкой ответил тот. – Ловкий такой, а со мной ошибся маленько. Ему бы меня сразу в КПЗ засадить, а он только подписку о невыезде взял и на все четыре стороны отпустил. Не знал, что я, подлец, этой промашкой его воспользуюсь.

– Но как на вилке отпечатки твоих пальцев оказались?

– Честно скажу, растерялся я тогда. Мне бы из этого туалета поскорее ноги уносить да подальше, а я... Сдуру вилку из его груди вытащил, милицию вызвал... Словом, влип хуже некуда.

– А что приятель твой, Смагин?

– Он-то сразу дёру дал. Но через два дня его взяли. На первом же допросе он на меня показал – мол, "вместе с Найдёновым мы Славика к праотцам отправили". Но синицынская фифочка видела, как я с официантом расплачивался... Она на меня сразу внимание обратила: первый раз человека в рясе увидела и на допросе показала, что из ресторана я вышел гораздо позже Фёдора. Семивёрстов поверил ей и, видимо, поэтому отпустил меня.

– Но как приятель твой смог на такую подлость решиться?!.. Ведь вы на фронте не раз в лицо смерти глядели!.. Хоть убей, не понимаю!

– Не осуждай, – остановил Алексея Иван. – Хоть и не след за самоубийц молиться, но я каждый день среди усопших его поминаю. Фёдора Смагина, Лексей, нет уже на этом свете. И на том тоже... покой обрести ему не суждено. Слышал я, повесился он... в Бутырке.

– Видать, угрызения совести загрызли, – не сдавался Богомолов.

– Как бы там ни было, только с его смертью у следствия ни одного обвиняемого не осталось. А куда это годится?.. Вот они и решили меня к этому делу пристегнуть... Третий месяц покоя не дают, из угла в угол гоняют... Обложили со всех сторон, ни вздохнуть, ни охнуть.

– А как ты узнал, что за тобой охота идёт?

– Я, как в монастырь вернулся, сразу к отцу Симеону, игумену нашему, на исповедь пошёл. Рассказал всё, как было, и совета попросил. Он, само собой, расстроился очень: времена сейчас смутные. Сам понимаешь, ежели в убийстве всего лишь один из его братии замешан, чёрная тень на весь монастырь ложится. Потому и сокрушался отец Симеон, и горевал: понимал, если поймают, "вышки" мне не миновать. На другой день ранним утром, ещё не рассвело, призвал он меня к себе и велел тихо из обители исчезнуть. Денег дал и адрес своего троюродного брата, у которого я мог бы на время схорониться. Звали его Игнат и жил он на глухом хуторе в десяти километрах от монастыря. Я в тот же день волю его исполнил – бежал, словно бандит с большой дороги, разыскал Игната и затаился у него. Ночевал в бане и без особой нужды в светлое время суток на двор старался не выходить. К нам из обители Сашка-

послушник раз в неделю приходил. Еду приносил, а главное – свежие новости. От него-то я и узнал о самоубийстве Фёдора и о том, что к отцу Симеону Семивёрстов приезжал, а с ним ещё четверо. Сам с игуменом заперся, а четвёрка других принялась по монастырю рыскать и братьев одного за другим расспрашивать: где я, куда ушёл, почему, когда?.. И я понял, рано ли, поздно ли, но проговорится кто-нибудь ненароком, а потому поблагодарил Игната и в бега ударился. Первым делом к вам в Дальние Ключи стопы направил. Не знал, что отец Серафим опять за "колючку" угодил. Его-то не встретил, зато с тобой, Алексей, познакомился.

– А зачем от меня сбежал?.. Внезапно, ни слова не сказавши? – в голосе Алексея Ивановича прозвучала обида. – Неужто думал, доносить на тебя стану?..

– Чудак-человек! – рассмеялся Иван. – Я о твоём спокойствии заботился. Ноне знакомство со мной – вещь не безопасная. К тому же у меня запасной вариант был – отец Антоний. Я знал, что он отошёл от дел, уже давно не служит. Ему на Колыме позвоночник перебили, и из лагерей вернулся он домой полным инвалидом, но на помощь его сильно надеялся. Однако человек предполагает, а Бог располагает. Пришёл, а вокруг него столько народу толчётся!.. Бабки убогие, девки наглые, калеки, юродивые – не протолкнёшься!.. Антоний теперь с кровати не встаёт, телом совсем ослаб, но дух всё такой же богатырский. Вдобавок, дар целительства у него открылся, вот и потянулся к нему народец со всех концов земли. И это бы тоже ещё ничего – мне места немного надо. Как-нибудь я бы подле него пристроился, но очень мне один бойкий молодец, что при нём состоит, не понравился. Уж больно настырен: ни секунды со старцем наедине не оставляет, и стукаческим духом от него за версту воняет. Я и развернулся на сто восемьдесят градусов. Вернулся к тебе, а тут...

– И впрямь, обложили тебя, Иван! – Алексей Иванович сокрушённо вздохнул. – У меня тебе тоже оставаться стрёмно: того и глядишь...

– Верно! – раскатился по горнице хриплый бас. – Того и гляди, схватят под микитки и в тюрьму поволокут!..

Приятель вздрогнул, обернулся. Увлечённые разговором, они совершенно забыли, что в избе они не одни.

Свесив с печки ноги в шерстяных носках, на них в упор смотрел бывший председатель колхоза "Светлый путь". Волосы всклокочены, глаза, хотя и мутные, но уже вполне трезвые. И злые.

– Герасим, как ты себя чувствуешь? – натужно поинтересовался Алексей Иванович. – После вчерашнего, небось, голова трещит...

– Ты о голове моей не беспокойся, товарищ Богомолов. Лучше о своей подумай! – Седых соскочил с печки на пол. – Убийцев в доме своём принимаешь?!.. Так, так!..

– Ты в своём уме?.. Что говоришь?!.. Подумай!..

– Я-то знаю, что говорю, а вот ты, видать, не соображаешь, чем тебе укрывательство государственного преступника обернуться может. Это ведь его фотографию нам позавчера товарищ показывал!.. У храма... Забыл?!..

Алексей Иванович сжал зубы и промолчал. Иван только ухмыльнулся.

– Ну, ничего!.. Я вас всех на чистую воду выведу!.. Я вам покажу, кого можно из партии выгонять, а кого и побережь надо!.. – и взревел, что есть мочи: – Где мои сапоги?!..

– Ты их в бане вчера оставил. – тихо ответил хозяин дома. – Там ищи.

– И найду!.. И не только сапоги свои... Я правду... я справедливость... Я всё найду!..

И вышел за порог, что есть силы шарахнув дверью.

Друзья с минуту помолчали.

– Что ж, – спокойно проговорил Иван. – Повидались, и будет. Пора по домам.

– Это куда же? – удивился Богомолов.

– В Москву. Там дом мой. Эх!.. Была не была!.. Чем зайцем трусливым по кустам скакать, лучше прямо в глаза опасности поглядеть.

– И я с тобой! – вскочил с лавки Алексей Иванович. – Мне тоже в Москву надобно!
И стал собираться.

17

Рельсы, выскакивающие из-под вагона, стали множиться, разбегаться в разные стороны; настойчивее и громче застучали колёса на стрелках, леса и поля, ещё минуту назад проплывавшие за окном и разодетые по осенней моде в яркий разноцветный убор, сменились скучными серыми коробками блочных домов. Платформы пригородных станций замелькали всё чаще и чаще, одна за другой: "Сортировочная", "Депо", "Рижская".

Павел Петрович Троицкий, стоя в коридоре, что есть силы вцепился в поручень у окна и не мог оторвать глаз от этих похожих друг на друга домов, от красно-кирпичных старинных пакгаузов, от покосившихся заборов и сваленного где попало мусора – ото всего этого грязного унылого городского пейзажа, которого он не видел целых девятнадцать лет!.. И от переполнявших его давно забытых чувств ему временами казалось, что сердце, рвущееся наружу из грудной клетки, не выдержит и разорвётся раньше, чем он ступит на московскую землю.

Что принесёт ему эта новая встреча с городом, который он любил больше всего на свете и в котором пережил самые страшные мгновения своей жизни?..

Авдотья Макаровна с раннего утра уложила все свои вещи и теперь прямая, натянутая, как струна, сидела на нижней полке у самой двери и тревожилась, куда подевался Владислав? Со вчерашнего вечера он, как ушёл в пятый вагон, словно сквозь землю провалился. Оно, конечно, дело молодое, и Людмила, хоть и не вышла росточком, всё же девица бойкая, заметная и вполне могла парню голову вскружить, так что понять его очень даже можно. Но подобные рассуждения вовсе не успокаивали, а напротив, только увеличивали её тревогу: а вдруг Владик забыл про них со своей зазубой? Поэтому она поминутно выглядывала в коридор и тяжело вздыхала.

– И что вы так волнуетесь, мама? – успокаивал Павлик мать. – Придёт, никуда не денется. Чемодан с деньгами у нас, а без него он как бы и не человек вовсе. Вот увидите, в самый последний момент явится.

Макаровна соглашалась с сыном, понимала его правоту, но волноваться меньше от этого не переставала.

– А вдруг, что случилось?.. Плохо с сердцем... Или ещё что... Мы ж ничего не знаем.

– У такого здорового парня и плохо с сердцем?.. Ну, вы скажете тоже...

– Мало ли, – не сдавалась мать. – Теперича молодёжь хлипкая пошла, хуже нас, стариков.

– А может, оно и к лучшему? – рассмеялся Павлик. – Тогда мы с вами, мама, вмиг миллионщиками станем.

– Типун тебе на язык! – оборвала его Макаровна и снова выглянула в коридор.

Вместо ожидаемого Влада в дверях показалась Нюра-проводница.

– Как вы тут без меня? – густо покраснев, она положила на стол в несколько раз сложенный листочек бумаги в косую линейку и, не глядя ни на кого, а так, куда-то в пространство, как бы вскользь, сказала. – Тут адресок мой... Если вдруг чего понадобится... или попросту... вдруг письмо захочется написать... Я рада буду. Вот... – и быстренько шмыгнула обратно в коридор.

– Славная девчоночка!.. – вздохнула Макаровна. – Вот бы мне невестушку такую...

– Мама!.. О чём вы?! – Павлик был явно раздосадован.

– Да это я так... Про себя... Не слушай меня... дуру, – и тихонько спрятала листок с адресом в карман кофты.

Заскрипели тормозные колодки. Поезд медленно подползал к перрону Ярославского вокзала. За окнами показались носильщики с латунными бляхами на груди, встречающие с цветами в руках, суровый милиционер в кожаной портупее и с пустой кобурой на боку.

Состав, слегка дёрнувшись, остановился.

И когда последняя надежда Авдотьи Макаровны на появление Владислава была практически потеряна, он с шумом ворвался в купе.

– Тютелька в тютельку поспел!.. Павлуша!.. Боевая готовность номер один!.. Приехали! У пятого вагона встречаемся!.. Лады?.. – и, забрав с верхней полки свой денежный чемоданчик, побежал к выходу.

– Я вам помогу вещи из вагона на перрон вынести, – предложил Павел Петрович.

– И думать не смей! – рассердилась Авдотья Макаровна. – Где это видано, чтобы генералы мои шмотки таскали?!..

Но "генерал" слушать её не стал. Подхватил два чемодана, свой и соседский, и быстро пошёл по коридору.

– Петрович!.. Не позорь ты меня перед людьми! – неслось ему вслед.

На перроне у выхода из вагона стояла взволнованная Нюра. Павел Петрович поставил чемоданы на землю.

– Ну, всего тебе доброго, голубушка!.. Даст Бог, ещё свидимся, – и протянул ей руку.

– Павел Петрович... товарищ генерал... – заикаясь и краснея больше обычного, тихо проговорила Нюра, – можно я вас поцелую?..

И, не дожидаясь ответа, обвила "генеральскую" шею тоненькими руками и крепко-крепко поцеловала.

– Я вас всегда-всегда помнить буду! Что бы ни случилось!.. До самой смертушки своей!.. – и захлюпала носом.

– Ну, ну, ну... – смущённый, растроганный, Павел Петрович обнял её и, прижав к себе, тихонько сказал на ушко: – Постарайся стать счастливой, моя хорошая!.. Договорились?..

– Мiu... – только и сумела ответить, не замечая ползущей по щеке слезы.

– До свиданья, Нюра, – Авдотья Макаровна протянула ей руку лодочкой. – Чует моё сердце, не на век мы с тобой прощаемся.

– Ах, если бы! – согласилась девчушка и, улыбнувшись, церемонно пожала протянутую руку. Потом обернулась к Павлу. – А вы ничего не скажете мне на прощанье?..

– Почему же? – смутился парень. – Будьте здоровы!.. И ещё... Пусть никто вас не обижает. Ладно?.. Хотя в нашей жизни это, наверное, невозможно.

– Возможно!.. Возможно! – обрадовалась такому необычному пожеланию Нюра. – После того, что я за этот рейс узнала, что пережила, меня уже ничем обидеть нельзя. Я теперь закалённая, – и засмеялась, счастливая.

У пятого авгона Влад прощался с Людмилкой.

– Ты, само собой, можешь не верить, но... Клянусь, я ещё никого в своей жизни не обидел. Нет, врать-то врал... Оно, конечно, не без этого, но так, чтобы с последствиями, – никогда! Ты всё обдумай на досуге, я тебя не тороплю – дело серьёзное. Но особо тоже... не тяни... Короче, через две недели на этом самом месте в четырнадцать ноль-ноль по московскому времени встречаю сто двадцать шестой поезд, пятый вагон, и ты мне даёшь твёрдый и окончательный ответ. Лады?

И куда только подевалась Людмилакина бойкая говорливость?.. Она стояла у подножки вагона пунцовая и в растерянности теребила дерматиновый футляр, из которого торчали два флажка, жёлтый и такой же красный, как и её щёки. В ответ на предложение Влада Людмила только коротко кивнула и вдруг, расталкивая выходивших на перрон пассажиров, кинулась обратно в вагон.

Павел Петрович протянул Владу руку.

– Рад был с вами познакомиться, Владислав Андреевич.

– Взаимно, – ответил тот и с готовностью пожал протянутую руку.

– Я бы очень хотел помочь Павлу, – сказал Троицкий и достал из кармана записную книжку. – Где вас можно будет разыскать, если моё желание совпадёт с моими возможностями?

– Пока не решил, товарищ генерал. Лучше я вас сам разыщу. Вы где намерены остановиться?

– В гарнизонной гостинице. Это где-то на площади Коммуны. Более точного адреса, к сожалению, дать не могу.

– А мне и этого достаточно. Через пару, тройку дней ждите гостей. Лады?

– Договорились, – и, помахав на прощанье своим попутчикам, Павел Петрович пошёл в сторону вокзала.

– Погодите!.. Товарищ генерал!.. – он обернулся и увидел бегущую по перрону Людмилку. Она с разбега чуть не сшибла его с ног и, запыхавшись, с трудом переводя дыхание, проговорила.

– Вот, Павел Петрович... Вам! – и протянула ему газетный свёрток. – Вы моего мёда так и не попробовали как следует... Кушайте на здоровье... Вам оно сейчас... ой! – как понадобится...

– Спасибо, голубушка, – он был очень тронут таким неожиданным и таким щедрым подарком. – Только напрасно вы!.. Ей Богу!..

– Мне Влад предложение сделал... Чтобы, значит, идти за него, – не слушая возражений, быстро затараторила девчонка. – Как считаете, соглашаться или отказать?.. Я только вас могу послушаться... Ведь у меня никого нет... То есть совершенно... И про деда пасечника я тоже наврала... Ведь хочется, чтобы всё, как у остальных, было... Вот и придумываю... Вроде, как в куклы играю... А тут уже не до игрушек, верно?.. Тут разговор, может, о всей жизни идёт... Мне замуж, знаете, как хочется?!.. Но боюсь, а вдруг он не тот... А?.. Вдруг ошибусь?.. Потом век локти кусать буду... А вы, Павел Петрович, человек умный, знающий про жизнь... Посоветуйте, что делать? Как скажете, так тому и быть!..

– С чего это вы решили, что я умный и знающий?.. Я, Людмила Степановна, в принципе советчик никудышный... Честное слово... – Троицкий в конце растерялся. – А в таком деликатном деле вообще считаю, бесполезно какие-либо советы давать...

– Нет, полезно!.. Очень даже полезно!.. – настаивала Людмила. В глазах её было столько мольбы, она так верила ему, что он неожиданно даже для самого себя... решил.

– Я бы на вашем месте ему бы не отказал, но и не согласился бы вот так сразу... С бухты-баряхты. Вы ему, Людмила Степановна, дайте... Как бы это половчее сказать?.. Испытательный срок, что ли... Присмотритесь, узнайте друг друга получше... А впрочем... Не слушайте вы меня, сами решайте. Я ведь ни вас, ни Владислава толком не знаю...

– Вы мне только скажите, стоящий он человек или так... балабол? Какое у вас впечатление?

– Впечатление?.. Нормальное впечатление, но это...

Он не успел договорить, как она бросилась к нему на шею и крепко-крепко расцеловала.

– Спасибо, Павел Петрович!.. Так и знала: вы один сможете мне помочь!.. Огромное-преогромное спасибо вам!.. Добрый, прекрасный вы человек!.. – и радостная побежала назад, к своему пятому вагону. Уже на бегу помахала ему рукой и звонко, весело прокричала: – До скорого свидания, товарищ генерал!.. Я вас ни за что и никогда не забуду!..

Шедшие ей навстречу пассажиры с удивлением оглядывались на нелепую фигуру худого, нескладного человека в длинном не по размеру пальто. Даже самая смелая фантазия никак не позволяла признать в нём генерала. А сам "генерал", покраснев от неловкости и смущения, не без эдакого злорадства на свой счёт думал про себя: "Ну вот, уже и молоденькие девчоночки, одна за другой, на шею тебе бросаются!.. Дожил!.."

Первое, что поразило Павла Петровича, когда он вышел на Комсомольскую площадь – странная, непривычна тишина на улицах. Машин было много и двигались они по мостовой плотным потоком, но при этом не издавали ни одного сигнала, и Троицкому показалось

даже, что он на короткое время оглох. Куда подевалась беспорядочная весёлая переключка автомобильных гудков, клаксонов, радостный трамвайный перезвон?.. Почему глухая тишина повисла в воздухе, и только урчание моторов и шелест шин по асфальту нарушали эту глухую немоту?..

Не мог знать комбриг Троицкий, что Моссовет пару лет назад своим суровым постановлением запретил подачу звуковых сигналов на улицах Москвы, дабы оградить покой москвичей и гостей столицы от излишнего шума городского транспорта. Благое стремление. Безусловно – благое!.. Но для человека тридцатых годов, через девятнадцать лет вернувшегося на эту площадь совсем из другой жизни, такая тишина казалась тревожной, непонятной, ошеломляющей.

Справа от Ярославского вокзала за железнодорожным мостом высилось многоэтажное здание, увенчанное высоким шпилем со звездой в лавровом венке, а левее, чуть подалее, за обшарпанными крышами знакомых домов, ещё одно такое же. И тоже со шпилем. Когда Павел Петрович последний раз был здесь, этих "высоток" не было и в помине.

Машины "такси" тоже были совсем другими. Вместо высоких чёрных "Эмок", возле вокзала выстроились в ряд элегантные автомобили с покатыми крышами, и сбоку на капоте можно было прочесть, как называются эти разноцветные красавицы: "Победа".

"Да, жизнь шагнула от тебя далеко вперёд, дорогой товарищ!.. И хочешь – не хочешь, а придётся к этому привыкать!.. Наверняка, и не такие сюрпризы тебя впереди ожидают", – невесело усмехнулся про себя бывший комбриг и открыл дверцу кремовой "Победы" с шашечками на борту.

Водителем такси оказался жизнерадостный и очень полный грузин лет сорока. Было удивительно, как помещается его грузное тело за рулём, и вообще, как он умудряется вести машину, если руль упирается в его необъятный живот?

"Грузный грузин! Вот и каламбур нечаянно получился", – подумал Троицкий и улыбнулся.

– Тамарджоба, дорогой! – радостно приветствовал шофёр пассажира, включая счётчик. – Куда поедем, генацвале?

Мне нужна... – Павел Петрович запнулся. – Я, к сожалению, не знаю, точного адреса гарнизонной гостиницы. По-моему, где-то возле площади Коммуны.

– Не смущайся, дорогой. Найдём мы твою гостиницу. Всё, что душа твоя пожелает, найдём! – и он так рванул с места, что у бедного пассажира, который забыл, когда в последний раз ехал в такси, ёкнуло сердце. – Никто так хорошо Москву не знает, как Автандил Гамреклидзе, – и уточнил. – Это меня Автандилом зовут.

– Павел Троицкий, – в свой черёд представился Павел Петрович.

– Вот и познакомились, генацвале. Я лично очень рад. Нехорошо, когда человек не знает, как его соседа зовут. Даже если это соседство такое короткое, как у нас с тобой.

Они выехали на Садовое кольцо.

Павел Петрович с каким-то жадным, болезненным любопытством вглядывался в бегущие навстречу московские дома, переулки, улицы: отыскивал знакомые черты города, который он так давно оставил. И, когда находил, радовался, словно старого друга встретил. А всё новое, неизнаваемое вызывало в душе смутное, тревожное чувство. Будто встретился он с чужим, посторонним человеком, от которого не знаешь, чего ожидать.

Взвизгнули тормоза, машина остановилась на светофоре, и только тут до слуха его донёсся голос лучшего знатока Москвы, водителя Гамреклидзе.

– ... и на партсобрании ему объявили "строгий выговор с занесением". Генацвале, скажи, разве это справедливо?..

Павел Петрович смутился и виновато посмотрел в сторону шофёра.

– Извините, Автандил. О чём вы?..

– Эх, Павел, Павел!.. Дорогой, ты что, совсем не слушал меня? – безо всякой обиды спросил тот. Только удивился, и всё. – Вай, вай, вай!.. так крепко задумался. Зачем?..

– Давно в Москве не был.

Рядом с "такси" остановился грузовик, доверху нагруженный силикатным кирпичом. Казалось бы, что особенного? Но бывшего комбрига поразило, что не только борта, но и капот, и дверцы ЗИЛ-а выкрашены в розовый цвет и, мало того, разрисованы большущими ромашками!..

– С каких это пор в Москве обыкновенные кирпичи на таком легкомысленном транспорте возят? – рассмеялся Троицкий.

– Ты, наверняка, знаешь, геацвале, у нас этим летом международный фестиваль молодёжи и студентов проходил. Со всего мира молодёжь съехалась, – начал объяснять грузин, но, заметив удивление своего пассажира, спросил: – Неужели, ничего не слыхал об этом?!..

– Ничего, – ответил Павел Петрович.

– Ну, как же так?!.. – удивился Автандил. – Открывали фестиваль на стадионе в Лужниках, а жили иностранцы возле ВСХВ, там для них целый гостиничный городок построили, и в день открытия делегации через всю Москву на грузовиках везли, чтобы москвичи смогли им ручками помахать. "Мир!.. Фройндшафт!.." Интернационализм, так сказать, в самом натуральном виде. И какой-то весёлый человек придумал, разукрасить тёмно-зелёные "ЗИЛы" самым немыслимым образом. Представляешь?!.. Народу на улицы высыпало столько, что разноцветная колонна медленней черепахи к стадиону двигалась. Открытие, само собой, задержали. Мы с сыном на Восточной трибуне лишних два часа под палящим солнцем жарились. Ты не удивляйся, сейчас по Москве и голубые, и жёлтые, и оранжевые грузовички бегают. А возвращать им обратно первоначальный облик никто, по-моему, не собирается. Денег, думаю, жалко.

Загорелся зелёный свет, и Автандил рванул с места, оставив розовый грузовик далеко за спиной...

– Ты где сидел?

Пришёл черед удивиться Троицкому.

– Как это вы узнали?

– Секрет, – рассмеялся грузин. – Так где же?

– Далеко. Отсюда не видать.

– Не хочешь говорить, не надо. Я не самый любопытный.

– А вот мне любопытно, как вы всё-таки узнали, что я "оттуда"?..

– Пойми, дорогой, у вас, которые, как ты говоришь, "оттуда", на лбу вот такими аршинными буквами написано, откуда вы. Я таких, как ты, десятками по Москве вожу.

– Уж будто и в самом деле десятками?

– Клянусь квартальной премией!.. И странно, амнистию к сорокалетию нашей дорогой советской власти ещё не объявили, а сидевший народ со всех концов нашей необъятной родины в нашу дорогую столицу толпой хлынул. В чём причина, скажи. Как это называется?

– Реабилитация, товарищ Гамреклидзе, вот как это называется.

– Все мне это не русское слово говорят, а в чём смысл, объяснить толком не могут. Хотя ты мне растолкуй.

Павел Петрович смутился. Он и сам впервые задумался над тем, как просто и доходчиво перевести на человеческий язык это вычурное иностранное слово.

– Право, не знаю, – попытался отговориться он.

– А ты попробуй.

– Ну, это как бы... восстановление в правах... Вернее, признание, что заключённый невиновен... Понимаете?..

– Не понимаю, – честно признался Автандил. – Ты, например, за что сидел?

Павел Петрович пожал плечами.

– Ей Богу, не знаю.

– Как это "не знаешь"? – удивился грузин.

– А вот так. Когда сажали, забыли мне об этом сказать, а я поленился спросить. Вот и сидел просто так... Ни за что...

– Этого не может быть, генацвале. "Просто так" у моей бабушки Нины в Алазани виноград растёт. А в тюрьму у нас за "просто так" не сажают. Обязательно причина должна быть. Хотя бы самая маленькая, но должна. Так по всем правилам полагается...

– Значит я – исключение из правил.

– Хорошо, иначе вопрос поставлю: в чём тебя на следствии обвиняли?

– Я товарища Сталина убить собирался.

– Ничего себе!.. А ты говоришь "ни за что"!.. Странно, что сам живой остался.

– Но я-то никого не хотел убивать!..

– Ну, это ещё доказать надо, – не сдавался Автандил. – Кто может знать, о чём ты думал? Какие тайные замыслы в твоём несознательном сознании зрели?

– Вы, Автандил – вылитый мой следователь. Тот тоже изо всех сил пытался убедить меня, что я преступник.

– Докажи, что нет.

Троицкий рассмеялся.

– Честное пионерское под салютом! – и добавил. – Зуб даю!..

– Смейшься? – обиделся Автандил. – А я серьёзно. Скажи, почему столько людей в лагерях сидело, если никто из них ни в чём виноват не был?.. Какая тут причина?.. Неужели половина населения всего Советского Союза – бандиты и убийцы?.. Да быть этого не может!.. Значит, кому-то было выгодно, чтобы из честных людей преступников сделать. Так?.. Так. Кому?!..

– Чтобы на ваш вопрос, Автандил, ответить, надо знать, что за кремлёвской стеной все эти годы творилось. Нас там не было, поэтому знать, что, к чему да отчего, нам не дано. И даже гадать не стоит. Занятие бесполезное.

– Но предположить мы можем. Для меня это очень важно – понять.

– Думаю, драка за власть шла.

– Зачем драка?.. Почему драка?!.. Человек человеку – друг, товарищ и брат. Меня так в школе учили. А в Кремле – самые лучшие из нас!.. И неужели этим прекрасным людям власти на всех не хватило?.. Ни за что не поверю!..

Троицкому стало вдруг скучно. Не хотелось ни объяснять, ни убеждать, ни доказывать.

– И правильно делаете, товарищ Гамреклизе. Это всё мои досужие домыслы и только.

– Вот так всегда! – расстроился Автандил. – Только серьёзный разговор начали, и – бац!..

Приехали.

Машина действительно остановилась, и лучший знаток Москвы выключил счётчик.

– Ты пойми, генацвале, после двадцатого съезда все на меня наезжать начали: "Ваш Сталин!.. Ваш Сталин!.." Почему "наш"?.. Он такой же наш, как и ваш. Если я грузин, значит за всё население Грузии отвечать должен?. Не согласен!.. К слову сказать, благодаря "нашему Сталину" мы ихнего Гитлера победили. Но это я так... Просто, чтобы напомнить...

Павел Петрович достал из кармана деньги.

– Сколько с меня?

– Нисколько. Денег я с тебя не возьму!.. Я ведь тоже могу сказать: "Ваш Хрущёв!"

– Хрущёв – украинец, а я, между прочим, русский. Так сколько?

– А я про что?.. В Кремле, кстати, дети разных народов заседают. Смотри, Микоян – армянин, Каганович – еврей, Хрущёв – хохол, Берия – тот вообще... менгрел был... И выходит, случись что в масштабе Союза – всех армян, евреев и прочих за ошибки какого-то одного дурака поголовно платить заставят?!.. Убери деньги, сказал!.. Ни копейки не возьму!..

Павлу Петровичу было ужасно неловко, но Автандил был так непреклонен и даже зол, что спорить с ним казалось опасно.

– Ну... Большое спасибо вам, товарищ Гамреклизе, – пробормотал Троицкий и, растеряно оглядевшись, спросил. – А дальше мне куда?..

Никаких признаков гостиницы в обозримом пространстве видно не было...

Грузин ничего не ответил. С удивительной для такого полного человека лёгкостью вылез из машины и, подхватив чемодан своего пассажира, коротко бросил на ходу.

– За мной, генацвале!..

Они вошли в арку безликого жилого дома ещё довоенной постройки и, повернув налево, направились к угловому подъезду, над дверью которого висела зелёная с золотом вывеска: "Гостиница Московского военного округа".

– Без вашей помощи я бы её ни за что не нашёл, – облегчённо вздохнул Павел Петрович.

– Маскировка. Важный стратегический объект, – очень серьёзно сказал грузин и распахнул массивную дверь. – Прошу!..

За столиком дежурного администратора сидела молодящаяся перегидрольная блондинка неопределённого возраста с вызывающе ярким маникюром на коротеньких пальчиках. Она с жадным интересом разглядывал журнал, на обложке которого можно было прочитать: "Rigas modes".

– Принимай гостей, Лариса Михайловна! – Автандил припал к пухленькой ручке и, громко чмокнув, зашептал на ухо. – Я тебе такого жениха привёз! Закачаешься!..

– Автандил!.. Как тебе не стыдно?.. Тоже мне... скажешь такое!.. – она изящно, как ей, вероятно, казалось, повела головкой и вскинула на своего будущего постояльца густо накрашенные чёрные ресницы. Как много обещал вспыхнувший из-под этих ресниц взгляд её карих глаз!.. Без особого труда можно было догадаться, что она не замужем и отставные военные – её слабость. – Это он всегда так шутит. Не обращайтесь внимания, товарищ...

– Троицкий, – представился Павел Петрович и протянул ей свой военный билет и предписание, выданное бойким капитаном в самом "райском" месте на этой грешной земле.

Лариса Михайловна опять повела кругленькой головкой, опять кокетливо улыбнулась и, взяв документы, грациозно раскрыла толстенную амбарную книгу, лежащую перед ней на столе.

– Ты тут располагайся, генацвале. Помойся, отдохни с дороги... У меня смена до четырёх. В семнадцать ноль-ноль я, как штык, буду здесь. Поедем кататься, я тебе Москву покажу. Ты сколько лет в нашей столице не был?

– Девятнадцать.

– Ничего себе! – Автандил даже присвистнул. – Значит, будет, что показать! – и, не дожидаясь согласия или возражений, пошёл к выходу. – Лариса! Смотри у меня, будь поласковой с товарищем.

Хлопнула тяжёлая дверь.

Лариса Михайловна вздрогнула и испуганно посмотрела на своего гостя.

– Товарищ генерал?!.. – в голосе её прозвучало и удивление, и восхищение, и восторг.

– Бывший, – уточнил Павел Петрович. – А сейчас, обыкновенный пенсионер.

– Обыкновенный?! – подобное заявление возмутило дежурного администратора до глубины души. – Вы отставной! Неужели не ощущаете разницы?!.. Ах!.. Если бы все пенсионеры у нас были такими... – она не договорила, но интонация её содержала в себе столько высокого и глубокого смысла, что отставной генерал внутренне съёжился. – Я вас в полулюксе поселю. Люксов у нас вообще нет. Новую гостиницу одиннадцать лет всё строят, а когда достроят, наверное, даже сам министр обороны не знает. Ваш номер – второй. Анкету можете позднее заполнить. Я сегодня в ночь работаю, так что мы с вами все необходимые формальности успеем ещё оформить...

Ресницы опять вскинулись вверх, и карие глаза подёрнулись влажной поволокой. О!.. Как много они обещали!..

– Я вас провожу, товарищ генерал.

Призывно покачивая бёдрами на ходу и оглушительно громко стуча высоченными каблуками по мраморным ступеням лестницы, она повела свою жертву на второй этаж.

Полулюкс оказался обыкновенной комнатой с нишей, в которой стояла роскошная двуспальная кровать, а в углу, слева от входа, висело на стене овальное зеркало, и белел умывальник.

– Туалет направо по коридору, а душ, к сожалению, на первом этаже. Захотите помыться, ключик у меня. Располагайтесь! – и она тихонько прикрыла за собой дверь, одарив высокого гостя на прощанье многообещающей улыбкой...

Павел Петрович скинул пальто прямо на кровать и подошёл к окну. Окно выходило во внутренний двор, и вид из него открывался, прямо скажем, не очень весёлый: ни жалкого деревца, ни какого-нибудь завалившего кустика. Всё пространство двора залито скучным серым асфальтом, сквозь который и травинки не пробиться. Лишь из-за высокой кирпичной ограды соседнего дома торчали голые ветви деревьев парка ЦДКА.

Как давно это было!

Совсем в другой жизни!

Все долгие годы своего заточения он запретил себе думать о прошлом, запретил вспоминать, потому что знал: дай только волю фантазии, позволь сознанию окунуться в сладкие воспоминания о былом счастье, и... Конец! Ты потеряешь ощущение реальности и, шаг за шагом, приблизишь себя к тому порогу, за которым начинается самое страшное – отчаянье. И, в конце концов, невероятным усилием воли он заставил себя избавиться от прошлого. Забыть, не забываясь. Словно ничего, кроме глухих стен камеры и "колючки", не было в его жизни вовсе.

Но сейчас... Сейчас уже не надо бежать от воспоминаний. Они не страшат более грядущим безумием.

Духовой оркестр в эстрадной раковине парка ЦДКА заиграл "Амурские волны", а на песчаные дорожки аллея легли кружевные тени цветущих лип. И на ресторанной веранде тёплый июньский ветерок легонько шевелил прозрачные тюлевые занавески, и мельхиоровые приборы слабо позвякивали среди негромкого людского гомона, а в хрустальных бокалах искрилось холодное шампанское, и смеющиеся глаза Зиночки смотрели на него из-под выбившейся пряди светлых волос радостно и лукаво.

Как они любили друг друга!.. Как они были счастливы!..

Слёзы сами, без спросу, потекли по его щекам.

"Слезам душа умывается". Он вспомнил эти слова отца Серафима и заплакал сладко, не таясь, с благодарностью принимая эту великую милость Господню – освобождение от душевных пут, что связывали его волю с самого момента ареста. Он плакал впервые за последние девятнадцать лет и не стыдился своей слабости, не прятал её под маской холодной иронии или мужественной простоты. Он отдавался охватившему его чувству легко и свободно, и гнетущая боль, с которой он так сроднился за эти годы, стала понемногу утихать, пока не отпустила его совсем.

Когда в семнадцать ноль-ноль лучший знаток Москвы Автандил Гамреклизе осторожно постучал в дверь полулюкса под номером два, Павел Петрович Троицкий, подтянутый, свежесвыбранный, терпко пахнущий любимым одеколоном "Шипр", уже ждал его.

– Вы меня извините, товарищ генерал, мне Лариса только что сказала, какое у вас звание, – и выражение лица, и даже грузная фигура его излучали невероятное почтение. – Я бы, например, никогда не подумал... А вы... Такой большой человек!.. И такой скромный!.. Честное слово!..

– И далось же вам моё мифическое генеральство! – поморщился Павел Петрович. – Ну, а если бы я ефрейтором был, неужели бы меньшего уважения заслуживал?

– Ни в коем случае! – сразу возразил грузин. – Ни в коем случае!.. Но, что ни говори... те, а генерал – это... генерал! – и многозначительно поднял вверх указательный палец. – Не я звания придумал, не мне их отменять.

– Меня зовут Павел, – не слушая его продолжил Троицкий. – Но, поскольку я значительно старше вас, можете звать меня Павел Петрович. И прошу, заклинаю вас, забудьте о чинах!

И вдруг шальная мысль пришла генералу в голову.

– Вы христианин?

– Я грузин, – с достоинством ответил Автандил. – А среди грузин я ещё не встречал вероотступников.

– И я христианин, – с не меньшим достоинством сказал Павел Петрович. – Значит, перед Господом нашим мы с вами братья. Согласны?

– Так точно, товарищ... Павел Петрович, – Гамреклидзе расплылся в улыбке. – Позвольте только перед выездом домой позвонить? Очень нужно, честное слово.

Троицкий кивнул и грузин почти сорвал с рычага трубку. Потом что-то темпераментно, очень горячо говорил по-грузински. В конце короткого разговора издал горловой утробный звук, означавший, по-видимому, наивысшую степень удовлетворения, бросил трубку на рычаг и обернулся к Павлу Петровичу. Глаза его светились самым настоящим счастьем.

– Моя колымага к вашим услугам, товарищ... Троицкий. То есть брат Троицкий. Прошу! – и шикарно распахнул перед вновь обрётённым "родственником" по вере дверь полуклюкса.

Колымагой Гамреклидзе оказался "опель-капитан" производства тысяча девятьсот тридцатого года.

– Трофейный, – пояснил он. – Я не в окопах, я на трудовом фронте воевал. Диабет у меня с шестнадцати лет, вот и забраковали меня вчистую. Но погоны всё-таки нацепили и отправили в гараж возле Крымского моста. Знаете, там раньше самые большие склады продуктов в городе находились? А после революции какая-то умная голова решила: лучшего места для спецгаража в Москве не найти. Продовольствие увезли, машины поставили. Так вот, я все четыре военных года из продуктового гаража не вылезал – очень важную шишку по Москве катал... Сначала на "ЭМКе", а с августа сорок четвёртого на этом самом "опеле". Туда-сюда. От дома – на работу, с работы – домой. От тоски, как паршивая шавка, подыхал. Люди на фронте кровь свою проливали, а мы с ним по Москве катались: из Хамовников – на Лубянку и обратно. Редко, когда в другие места заезжали. Он недалеко от писателя Льва Толстого жил. Ну, а на Лубянке известно, какие заведения помещаются: "Детский мир" и оно – это самое... Тогда, правда оно – "это самое" – не КГБ, а МТБ называлось.

– Значит, "шишка" эта в МТБ служила? – поинтересовался Троицкий.

– Служила?!.. Если бы ты знал, генацвале, как она служила и что мой незабвенный товарищ Егоров Вэ Пэ из себя представлял!.. Он даже не завхозом, нет... Он... Не могу сказать точно, как его должность в отделе кадров называлась, знаю одно: он на Лубянке всеми дворниками и уборщицами заведовал. Главкомандующий мётлами и половыми тряпками МТБ СССР!

– Никогда не думал, что бывают такие должности, – развеселился Павел Петрович.

– А как же?!.. Кто-то ведь должен говно за начальством убирать? Должен. А кто-то должен этим важным процессом командовать? Обязан. Иначе безопасность страны окажется под угрозой!.. Вот почему мой дорогой Вэ Пэ – главный говночист госбезопасности Советского Союза в чине подполковника состоял! Представляешь?!.. Ещё одна звёздочка на погонах, и он бы папаху на своей лысой башке таскал! Как самый настоящий горец!.. Больше скажу, почти

перед каждым праздником на его кителе новая медаль появлялась, а то и орден! Отважный человек был! Почти герой!..

– А как его машина у вас оказалась?

– В сорок шестом товарищ Егоров прямо с конвейера автозавода новенькую "Победу" получил, а у меня – демобилизация. Я к нему в кабинет зашёл, чтобы, значит, последнее "прости" сказать, а он обнял меня, расцеловал в обе щеки, а когда я ему ключи от "Опеля" протянул, взял их, повертел в руках и шикарно так, знаешь, на стол бросил: мол, "не нужна мне эта рухлядь, владей!" Как он с начальством гаража договорился, не знаю. Да мне собственно наплевать, но с того дня я этой ласточкой вот уже больше десяти лет владею. И хорошая машина, скажу вам. За всё время ни одной серьёзной поломки. А теперь, товарищ генерал, закройте глаза, пожалуйста. Подъезжаем. Мне бы очень хотелось, чтобы вы эту сногсшибательную красоту не по капельке, а одним залпом выпили.

Павел Петрович послушно закрыл глаза.

Машина остановилась.

– Приехали.

Автандил взял своего пассажира под руку и помог выбраться из машины на свежий воздух. На них тут же пахнуло прелым осенним листом и влажной землёй.

– Теперь можно открыть глаза, Павел Петрович. Смотрите.

Прямо перед ними, насколько мог видеть глаз, распластался вечерний город. Мириады дрожащих огоньков то вытягивались прямыми ниточками вдоль новых проспектов, то беспорядочно путались в бесконечном лабиринте старых московских улиц и тупиков и, весело подмигивая, убегали почти к самому горизонту.

От этой неоглядной широты дух захватывало.

– Где мы? – только и смог вымолвить он.

– Ленинские горы, – Гамреклидзе был доволен произведённым эффектом.

– Почему я никогда не был здесь раньше? – то ли спросил, то ли удивился Павел Петрович.

– А вы никак не могли здесь раньше быть, товарищ генерал. Эту площадку для обзора только в пятьдесят третьем открыли. Вместе с университетом... Вы назад обернитесь.

За их спинами гвоздём протыкало небо новое здание МГУ. Его правильная симметрия после величавого простора вечернего города была невероятно скучной и унылой. До тошноты. И вообще, своими очертаниями эта высотка, впрочем, как и все её сёстры, очень напоминала детсадовский домик, построенный из деревянных кубиков, а своей наглой помпезностью нарушала все представления о пространственной гармонии. Во всяком случае, так показалось комбригу Троицкому.

– И сколько же таких монстров в Москве успели отгрохать? – спросил он.

– Пять, – с гордостью ответил лучший знаток Москвы. – Но это – самое лучшее, самое полезное... По-моему... – и добавил небрежно. – Тут мой сын Гиви учится... На первом курсе. Только в этом году поступил.

Однако сквозь эту небрежность явно просвечивала отцовская гордость за своего умного сына.

– Поздравляю, товарищ Гамреклидзе. В моё время поступить в Московский университет было... Ох, как непросто!..

– А сейчас?.. Практически невозможно.

– И кем же собирается стать ваш сын?

– Вы мне не поверите, но... Даже страшно сказать... Философом!.. Представляете?.. В наш век реактивных самолётов он хочет быть философом!.. Я его спрашиваю, зачем тебе нужна эта головная боль? В Советском Союзе все философы на пенсию вышли и на скверах, в садах и парках "козла" забивают или за пивом в очереди стоят. Спрашиваю: "Тебе что? Тоже на

пенсию захотелось?" Но разве молодёжь послушает нас, стариков?!.. Вы, говорит, от жизни отстали. Ну, хорошо. Предположим, я действительно отстал, но дед мой... Вы не знаете, товарищ генерал, какой у меня дед!.. Ираклию скоро девяносто, а голова такая – любой философ позавидовать может!.. Даже Гиви боится с ним серьёзно разговаривать. Старик спросит его, положим, почему мысли быстрее слов в голове бегают?.. И мой умник ничего ответить не может. Поехали к нему... А?..

– К кому? – растерялся Павел Петрович.

– К деду моему. К Ираклию. Честное слово, не пожалеете. И дочка его, тётя Катя, тоже очень интересный человек. Жалко Гиви нет, его на картошку отправили, но я вас с ним позже познакомлю... Поедьте! Стол накрыт... Вино у деда домашнее. Такого "Мукузани" ни в каком "Елисейском" не купишь, а шашлык!..

Гамреклидзе от сладкого предвкушение закрыл глаза и зацокал языком.

– Тоже домашний? – полюбопытствовал отставной комбриг.

– Почти, – тут же нашёлся Автандил. – Барашка я на Центральном рынке купил. Там мой кум Зураб мясом торгует и для своих самое лучшее оставляет... Поедьте. Ну что вы в своей гарнизонной гостинице делать будете? Имейте в виду, Лариса Михайловна очень знойная женщина и в покое вас просто так не оставит. А я заметил, крашенные блондинки после сорока не в вашем вкусе. Угадал?

– Увы!.. – рассмеялся Троицкий.

– Значит, решено – едем! – грузин впился в него как клещ.

– Но мы же Москву собирались смотреть, – слабо сопротивлялся Троицкий. Перспектива предстоящего вечера наедине с Ларисой Михайловной в самом деле приводила его в замешательство.

– Сейчас поздно, что в такой темноте увидишь? – наседали на него Гамреклидзе. – Поехали?..

Голос его был таким жалобным, а выражение лица таким трогательным, что отказать ему было "практически невозможно".

Когда сели в машину, довольный водитель тут же заверил своего пассажира:

– А Москву я вам завтра покажу. Завтра и послезавтра я выходной, времени у нас с вами – навалом!.. С самого раннего утра буду в вашем полном распоряжении, товарищ генерал. Жена моя Варвара поехала бабушку Нину навестить, поэтому собой я могу свободно распоряжаться! Никто меня не ждёт!.. Не только на работе, но и дома. Никому я, бедный, не нужен... Честное слово!.. Совершенно уникальная ситуация. Сын – на картошке, жена – в Алаверди!..

И тут Троицкий решил задать вопрос, которого очень стеснялся: не хотел предстать перед Автандилом полным невеждой.

– А на какую картошку вашего Гиви отправили?... "Картошка" – это, вероятно, какой-то современный жаргон?..

– Какой жаргон, генацвале?!.. – расхохотался грузин. – Да разве вы не знаете?.. – и тут же сам оборвал себя. – Конечно, не знаете: до войны таких порядков, наверное, не было. А сейчас каждую осень студентов младших курсов всех вузов нашей необъятной родины отправляют в колхозы, чтобы помогли колхозникам картошку убрать. У бедняг собственных сил не хватает. Умирает деревня, товарищ генерал, ещё несколько лет, и некому будет не то, чтобы убрать, посадить – никого днём с огнём не найдёшь. Я знаю, сам в таких командировках два раза был. Ну вот и всё – приехали.

Дед лучшего знатока Москвы жил на Третьей Мещанской улице. Он сам и его дочь занимали правую половину первого этажа старого, вросшего в землю по самые окна, деревянного дома. И дом этот был такой ветхий, такой древний, что, казалось, только дунь, и раскатится старикан в разные стороны по брёвнышку.

Вопреки постановлению Моссовета, Гамреклидзе, подъехав к дому, протяжно просигналил, и на порог вышла высокая пожилая грузинка. Длинное чёрное платье, перехваченное на талии поясом, спускалось с её плеч почти по щиколотку. Из-под чёрного платка, завязанного сзади, выбивалась серебряная прядь седых волос.

– Познакомьтесь, тётя Кэто. Это и есть мой сегодняшний клиент – товарищ генерал...

– Никакой я не генерал, – с досадой перебил его Троицкий. – Просто Павел... Павел Петрович...

Грузинка молча протянула руку. Пальцы у неё были длинные, тонкие, с матовыми розоватыми ногтями, и Павел Петрович, прежде чем поцеловать протянутую руку, на секунду замер, любуясь этой красотой, от которой отвык в своём отлучении от мира.

Еще с детства он привык при знакомстве первым делом обращать внимание на руки того, с кем его знакомили. Человеческая рука может рассказать о человеке гораздо больше, чем самая подробная анкета или служебная характеристика. Руки могут быть жадными, грубыми, нахальными, застенчивыми, нежными. Они могут утешить в горе, приласкать, а могут сделать больно, изувечить или даже убить. Да что говорить?... Сколько людей на Земле, столько разных рук, и ни одна пара на другую совсем не похожа.

Павел Троицкий почтительно поцеловал руку тёти Кати и, целуя, уловил тонкий аромат лаванды, который исходил от прозрачной с тонкими, чуть голубоватыми прожилками кожи.

Боже мой! Какой родной запах! Зиночка тоже любила лаванду и даже мужа заставляла после бритья освежать кожу не "Шипром", который он предпочитал всем остальным одеколонам, а именно лавандой.

– Милости просим, – у неё оказался удивительно молодой голос. – Отец давно ждёт вас. Они вошли в дом.

Половицы под ногами жалобно скрипели на разные лады, словно умоляли: "Ступайте осторожней! Нам столько лет, мы под вами треснуть, а не то и вовсе рассыпаться можем!.."

В большой просторной комнате, что была справа от входа, за накрытым столом, в глубоком кресле сидел старик с пушистой гривой белоснежных волос на голове. По тому, как он высоко держал подбородок и смотрел неподвижными зрачками поверх голов вошедших, было ясно: старик ничего не видит.

– Кэто, дай дорогому гостю умыть руки с дороги, – его слегка надтреснутый бас был наполнен удивительной силой.

На табурете около двери краснел выдраенный до зеркального блеска медный таз. Красавица-грузинка подняла с пола такой же сверкающий высокий кувшин, украшенный старинной чеканкой. Павел Петрович засучил рукава, и тонкая струйка воды полилась из изогнутого горлышка. Вытирая руки чистым полотняным полотенцем, Троицкий подумал о том, что этот торжественный обряд омовения не имеет ничего общего с обычным мытьём рук под водопроводным краном и создаёт в душе человека особенное, праздничное настроение.

– А теперь, дорогой, мы с тобой познакомиться должны. Меня зовут Ираклий. Так и будешь меня впредь называть, – они пожали друг другу руки. – А тебя, Авто говорил, в честь апостола Павла родители окрестили?

Троицкий согласно кивнул, но тут же спохватился: старик не мог увидеть его кивок, и поспешно добавил.

– Так точно, Павлом.

– Садись, Павел, рядом, – Ираклий указал на стул, что стоял по правую руку от него. – Авто, налей мне вина. Тебе сколько лет?

– Пятьдесят четыре, – ответил Павел.

– А мне в декабре девяносто восемь исполнится. Долго живу, но умирать что-то не хочется. На тот свет я торопиться не собираюсь. Хочу полный век прожить, но... Один Господь знает, сколько лет мне на этой грешной земле отпущено.

– Да вы всех нас переживёте, – Автандил почтительно вложил в крепкую морщинистую руку деда простую глиняную чашу, в которой плескалось тёмное вино.

– Запомни, Авто, лезть никого не может украсить. Ни того, кому льстят, ни того, кто по своей глупости это делает. Лезть унижает обоих. А пока помолчи, я хочу несколько слов сказать.

В комнате стало очень тихо. Только старинные ходики, висевшие на стене между окнами, отщёлкивали секунду за секундой, да древний дом изредка поскрипывал иссохшими половицами, то ли жаловался, то ли сокрушался о чём-то своём, что нам простым смертным было неведомо.

– "Никому на жизнь земную невозможно положиться: и моргнуть мы не успеем, как она уже промчится..." Так сказал наш великий Шота Руставели почти восемь столетий тому назад. И я, спустя такой долгий срок, повторяю эти вещие слова и с горечью соглашаюсь. Моя долгая жизнь была необыкновенно длинной и до смешного короткой. Я не помню часа своего рождения, не могу увидеть того, что происходит перед моими незрячими глазами сейчас, но своим мысленным взором я, слава Богу, могу уноситься в то далёкое счастливое прошлое, когда отец сажал меня на плечи и мне казалось, что бегущие по небу пушистые белые облака гладят меня по волосам, а горный ветер вот-вот подхватит на своё могучее крыло и умчит в бездонную синеву. И нежные руки моей незабвенной матери укладывают меня в колыбель, а её ласковый голос убаюкивает меня, и откуда-то издали приходит и обволакивает меня сладкий радостный сон. Почему только младенцы бывают так бесконечно счастливы?.. У каждого свой ответ на этот вопрос, но мне ясно одно: неисповедимы пути Господа нашего. Каждому из нас посылает Он испытания, и у каждого из нас – свой удел на этой грешной земле.

Старик замолчал. Откинул голову далеко назад и некоторое время сидел неподвижно.

– Долго у меня детей не было – не давал Господь. И только, когда я в сорок лет первый раз овдовел и через год второй раз женился, появились у меня наследники. Семерых родила мне красавица моя Софико. Шестерых мальчиков и одну девочку – Екатерину. Двоих ещё младенцами мы схоронили, а четверых Господь забрал у нас, когда все они и до середины своего жизненного пути дойти не успели... Трое – Реваз, Симон и Тицианна фронте героями пали. Реваз и Симон под Москвой в сорок первом, а Тициан, самый младший из братьев, двух недель до победы не дожил... Вечная им память! – он широко, не торопясь, трижды перекрестился. – А вот его отец, – Ираклий кивнул в сторону Автандила, – и мой первенец Георгий ещё до войны, в тридцать втором, сгинул. Пропал, словно и не жил на этой земле. Утром ушёл на работу, а вечером домой не вернулся. Так и не узнали мы, что с ним... Погиб?.. Арестован?.. Сегодня ровно четверть века прошло с того скорбного дня. Двадцать пять лет не сидит он с нами за этим столом. И вот я держу в руке эту чашу, полную вина, и не знаю, за что мне пить сегодня... За здоровье раба Божьего Георгия или же за упокой его прекрасной души...

Он опять замолчал, и все сидели за столом тихо, не шевелясь – ждали, что ещё скажет старик.

– Каждый день я жду: распахнётся дверь, и на пороге появится мой дорогой Георгий. Но год за годом ушли в вечность, а я так и не дождался. Четверть века – срок немалый, и я понял сегодня: мы с ним на том свете встретимся, – он поднял чашу с вином. – Я пью сегодня за всех невинно пострадавших и, в первую очередь, за твоё здоровье, Павел! – голос его окреп. – А если Господу было угодно и Он сохранил жизнь моему Георгию, то пусть моя здравица и его сердца коснётся.

Он поднёс чашу ко рту и медленно, глоток за глотком, выпил всё вино, до дна. Потом тыльной стороной ладони отёр рот и протянул чашу внуку:

– Наполни её вином для нашего дорогого гостя. Теперь его черёд говорить.

– Почему вы мне раньше ничего об отце не рассказывали? – в голосе Автандила звучала нескрываемая обида и боль. – Я думал, отец просто от какой-то болезни умер, а оказывается... Я ничего не знал.

– Потому что рано было. Через две недели после того, как Георгий пропал, твою мать, Авто, тоже на машине без окон в неизвестном направлении увезли. И тогда я понял: тебя спасать надо. Вот почему к Нине в Алаверди потихоньку отправил. В те времена не только взрослых, но и детей в лагеря отсылали. И были эти лагеря совсем не пионерскими. И я поклялся: ни за что на свете Сосо внука у меня не отнимет!.. Потому и молчал, Авто. Боялся... Не за себя. За тебя... Но сегодня, слава Богу, наступил час правды. И то, что за нашим столом сидит такой дорогой гость, первое тому свидетельство. Я потому и захотел тебя увидеть, Павел, и поговорить. Ты – первая ласточка. Говори!.. Всё, что сердце тебе подскажет, говори. Мы слушаем.

Павел Петрович принял из рук Автандила чашу с вином. Никогда прежде, даже выступая на самых ответственных совещаниях в Генеральном штабе, он не волновался так сильно, как теперь за эти столом. У него даже руки дрожали.

– Уважаемый Ираклий! Дорогие Екатерина и Автандил! Я безконечно благодарен вам за ваше хлебосольное гостеприимство, за вашу удивительную доброту, – торжественная речь старика произвела на Павла сильное впечатление и невольно настроила его на такой же возвышенный лад, но он вовремя спохватился и продолжил уже нормальным человеческим языком. – Вы не знаете, что стало с вашим сыном, отцом и братом, а я вообще не видел своего ребёнка, он должен был родиться уже после моего ареста. А где моя жена Зиночка?.. Двадцать девятого ноября тридцать восьмого года я оставил её в ложе бенуара в Большом театре. Потом один раз встретился на очной ставке, и всё... Жива ли она, здорова?.. Бог весть!.. Я ищу её и страшусь этой встречи. За девятнадцать лет её жизнь могла так круто повернуться, что возвращаться в наше прошлое, быть может, уже не то что не стоит, а категорически не рекомендуется. Кто знает, быть может, моё появление не только не принесёт Зиночке никакой радости, а сделает ещё более несчастной. Коряво я говорю?.. Да?.. Но... мысли путаются, хочу о многом сказать и не умею... Последние девятнадцать лет я провёл в заключении. Сначала восемь лет в тюрьме, остальные одиннадцать – в лагере. Утешает одно: моя судьба не уникальна. Тысячи, миллионы людей пережили такую же трагедию, как и мы с вами. Отчего это произошло?.. Кто присвоил себе право разбивать семьи, лишать детей родительской любви, а родителей сыновней привязанности?!.. Почему кому-то позволено отобрать у нас десятки лет нашей и без того не слишком длинной жизни?.. Про нас, которые сидели в лагере, говорят: "Отбывал срок". Заметьте – не жил, а "отбывал". Вот и я девятнадцать лет "отбывал". Этот срок не просто вымарали из моей жизни... Меня лишили прошлого самым безжалостным образом, потому что я его не пережил... Я его "отбыл"... И теперь, как сказал мне при расставании начальник лагеря, "вам, товарищ генерал, предстоит начать новую жизнь". Смешно!.. Жизнь у нас одна и всегда "новая", а начинать что-то заново в пятьдесят четыре года можно только в сумасшедшем доме. Ведь так?

Старик рассмеялся.

– В сумасшедшем доме никакую жизнь начинать не надо. Ни старую ни новую. Там вообще лучше не появляться. Ты, Павел, как считаешь?..

– Согласен. – он поднял чашу с вином. – Нас Господь создал человеками по образу и подобию Своему, и поэтому я хочу выпить это вино за то, чтобы мы всегда оставались людьми, что бы с нами ни случилось... До последнего вздоха!.. И ещё... Попросить Господа, чтобы дал Он нам силы достойно вынести все испытания, что предначертаны нам в этой жизни.

И так же, как Ираклий, до дна выпил терпкое тёмное вино.

– Хорошо сказал, брат, – старик похлопал его по плечу. – А теперь налегай на еду. Уверен, ты с утра ничего не ел.

– Как-то не получилось, – улыбнулся Троицкий.

– Вот и ешь, не стесняйся. Кэто, ухаживай за нашим дорогим гостем. Из дома Ираклия Гамреклидзе ещё никто голодным не уходил!..

Слегка склонив красивую голову набок, чуть улыбаясь одними глазами, Екатерина принялась угощать Павла Петровича.

– Вот, попробуйте, пожалуйста: лобио, сациви, бастурма... Козий сыр домашний... Форель под ореховым соусом... Зелень вся тоже своя – кинза, цицмада, тархун... Нам из Грузии присылают... И вино у нас тоже домашнее. Авто, налей Павлу Петровичу. Наше вино никого опьянить не может.

Оно силы даёт, радость людям приносит. Пейте на здоровье. Такое "Мукузани" только у нашей бабушки Нины – сестры деда Ираклия.

– Можно я тоже два слова скажу? – внук исподлобья посмотрел в сторону деда.

– Говори, – старик кивнул головой.

– Павел Петрович, – начал Автандил, заметно волнуясь. – Простите меня, товарищ генерал, что сегодня утром я так глупо, так бездарно посмеялся над вами: сказал, что "за просто так у нас никого не сажают". Не сердитесь на дурака. Я ничего про отца не знал, – голос его дрогнул, но он справился с волнением и продолжил, старательно выговаривая каждое слово. – Не знал, что мой родной отец – самый честный, самый благородный из всех людей на земле, – что он тоже, как ивы... Что судьбы ваши, как две родные сестры, одним горем повиты. Правильно дед Ираклий назвал тебя: "брат". Я пью за тебя, Павел Петрович, как за брата своего... Одним словом... Ты меня понимаешь...

На глаза его навернулись слёзы, он сморщился, махнул рукой, залпом выпил чашу с вином и, уткнувшись в плечо деда, безутешно и горько заплакал, как маленький. Ираклий похлопал его по спине, как это обычно делают, когда человек поперхнётся, и, сурово нахмурив брови, строго сказал:

– Мужчиной надо быть, Авто. Что ты нюни распустил?!.. Пожалуйста, успокойся, – потом повернулся к Павлу. – Я тебя, дорогой мой, спросить должен: ты моего Георгия в тех местах, откуда сам только что вернулся, не встречал?

Троицкий отрицательно покачал головой.

– Не довелось.

– Так я и знал.

– Но вы не отчаивайтесь, – начал успокаивать его Павел. – Реабилитация только началась. Время должно пройти, чтобы всех невинно осуждённых на волю выпустили. А у нас по Союзу сколько лагерей раскидано!.. Только у нас в Дальнегорске – четыре штуки. Пока до каждого лагеря у властей руки дойдут... Я думаю, ещё немного потерпеть надо... А может статься, сына вашего уже освободили, и он вот-вот дома появится...

– Спасибо, Павел. Меня утешать не надо. Ты не первый, с кем я об этом говорю. Я гибель троих сыновей пережил. Так что за меня не беспокойся, и четвертую осилю. Я привык терять, – старик с горечью усмехнулся. – Сколько лет один и тот же вопрос задаю и каждый раз один и тот же ответ получаю.

Звонок в дверь прозвенел резко и неожиданно. Все вздрогнули, переглянулись.

– Кэто, разве мы кого-нибудь ждём сегодня? – спросил Ираклий.

– Нет, отец, – ответила Екатерина и пошла открывать.

– Кто там? – прозвучал в прихожей её голос.

– Ираклий Гамреклидзе здесь живёт? – вопросом на вопрос ответил с улицы хриплый, надтреснутый баритон.

В замочной скважине повернулся ключ, заскрипели давно не мазанные петли, и ещё один нежданный гость вошёл в дом гостеприимных грузин.

18

Когда Богомоллов и Иван Найдёнов вышли на Комсомольскую площадь у Ярославского вокзала, были поздние сумерки. Уже зажглись уличные фонари, и в чёрных лужах, причудливо преломляясь, отражался их холодный неоновый свет.

– Ну, и куда же мы теперь? – поинтересовался Алексей Иванович.

Иван хотел было почесать свою бороду, как это всегда делал отец Серафим, попадая в затруднительное положение, но рука его непривычно наткнулась на неуютно-лысый подбородок.

Было странно видеть его бритым, но что поделаешь?!.. Поездка в Москву требовала строжайшего соблюдения правил конспирации. А если верить детективным романам, для этого прежде всего надо было изменить внешность. Поэтому Богомоллов уговорил, уломал приятеля сбрить бороду и, главное, выкрасить волосы. Совершенно белая голова Ивана немедленно привлекала к себе внимание: уж очень редким был естественный цвет его волос, поэтому-то и нужно было сделать его неестественным, но обычным, ничем не выделяющимся. Пришлось обратиться за помощью к Галине. К величайшему сожалению, в её закромах ничего, кроме старого пакетика хны, не нашлось, но и на том спасибо. Не сажай же из печной трубы волосы мазать. Вот и занялся Алексей Иванович поневоле парикмахерским делом да, видать, перестарался: слишком долго держал злосчастную хну на волосах Ивана, потому как, сняв с головы его полотенце, в ужасе ахнул!.. Перед ним предстал ярко-рыжий клоун из детской книжки про цирк Шапито, а вовсе не монах из Свято-Троицкой обители. Совершенно белые волосы Найдёнова обрели фантастический, никогда доселе не встречавшийся в природе багрово-красный цвет.

Как сокрушался, как горевал несчастный!..

И силы небесные призывал, чтобы те покарали раба Божьего Алексея, который его в глазах всех людей посмешищем сделал, и на коленях умолял Матерь Божью, чтобы вернула Она ему облик человеческий, взамен шутовского. И стонал, и плакал!..

Не помогло.

Кончилось тем, что Иван замотал голову шарфом, поверх на самые брови надвинул шапку и не соглашался снять её даже в поезде. Как назло, проводник, не жалея угля, натопил вагон так, что пот ручьями струился из-под ушанки, стекал по его лицу и на полу даже маленькая лужица образовалась. На все уговоры снять хотя бы шапку, Найдёнов отвечал отказом, держался геройски и стойко переносил выпавшие на его долю муки. Богомоллов не мог без улыбки смотреть на своего несчастного друга.

Но сейчас было не до шуток. Надвигалась ночь, и надо было, наконец-то, решить, где они будут сегодня ночевать. Всю дорогу до Москвы приятели обсуждали этот вопрос, но к общему согласию так и не пришли. Конечно, у Ивана лежали в кармане ключи от комнаты в Даевом переулке на Сретенке, но показаться там было слишком рискованно, поскольку "они" там уже наверняка побывали, и соседи по квартире в любом случае осведомлены о похождениях Найдёнова... Но, с другой стороны, не станут же "они", ради какого-то беглого монаха, круглосуюточную засаду в его комнате устраивать?!.. А что касается соседей... Если, положим, явиться домой за полночь, когда все спать улягутся, то до утра можно не волноваться, что посреди ночи кто-нибудь из них побежит на Лубянку и станет во все двери на беглецов "стучать". Хотя... При желании можно тихонько "постучать" и по телефону. Даже если прямой номер не знаешь, позвони "02", и любые органы к твоим услугам. Так-то вот!.. Почему и возникал вопрос: рискнуть или погодить?..

– Давай-ка мы с тобой перво-наперво поужинаем, – предложил Иван. – А то на пустой желудок башка что-то плохо варит.

– Я не прочь, – согласился Алексей Иванович.

– Рядом со мной на Колхозной одна забегаловка есть. Там и готовят прилично и недорого. Ты как?..

– Пошли.

И они направились в сторону Садового кольца.

Забегаловка называлась просто, но весьма поэтично – "Закусочная" – и помещалась в полуподвале двухэтажного дома. Поэтому, чтобы попасть в её чрево, пахнущее общепитовской снедью, нужно было преодолеть пять щербатых ступеней. Для трезвого человека это, естественно, никакого труда не составляло, но для выпившего было порой трудно преодолимым препятствием. Вот и теперь на первой снизу ступеньке сидел пожилой мужчина и, цепляясь за скользкую от дождя стенку трясущимися руками, пытался поставить своё тело в вертикальное положение.

– Домой, домой, домой, домой!.. – безостановочно повторял он, но руки-ноги его не слушались, и заветной мечте несчастного: оказаться под тёплым кровом, в этот вечер, похоже, не суждено было сбыться.

– Эх ты, бедолага! – Иван подхватил пьяницу под-мышки.

– Родной ты мой! – радостно завопил тот.

– Зачем же так напиваться? – полюбопытствовал наивный Алексей Иванович.

– Вследствие многочисленных причин, – алкаш даже обиделся, мол, зачем глупости спрашивать. – Во-первых, для сугреву всей внутренности, а во-вторых... – поставленный, наконец, на ноги он глубокомысленно изрёк. – Из-за полной безысходности неудавшейся на данный момент жизни! – и утробно икнул.

– Ты домой-то доберёшься?..

– Посторонних просим не беспокоиться! – пьяница обретал силу и уверенность. – Мы – поколение победителей!.. Понял?!.. Я пол-Европы брюхом пропахал!.. Небось и до Печатникова допелзу!.. – и что есть мочи заорал. – "Тёмная ночь!.. Только пули свистят..."

Мотаясь из стороны в сторону, он побрёл в темноту.

– Победитель! – горько усмехнулся Богомоллов.

В забегаловке было многолюдно, шумно, пьяно, несмотря на суровую табличку, что висела на голубой обшарпаной стене и на которой под треснутым стеклом можно было прочитать: "Приносить с собой и распивать спиртные напитки строго запрещается! Штраф – 50 рублей". Но все с собой приносили, и все тут же принесённое открыто распивали, и все смачно плевали и на суровый запрет, и на грязный пол, и на пятидесятирублёвый штраф.

Поставив тарелки с едой на алюминиевый поднос, друзья устроились в самом углу. Прежде, чем начать трапезу, Иван по обыкновению тихо произнёс:

– "Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу по благовремении, отверзаеши Ти щедрую руку твою и исполняеши всякое животное благоволения", – и перекрестил стол.

– Так вот ты где! – вдруг раздалось почти над самым ухом его. – Я за ним по всей России гоняюсь, а он, подлец, под самым носом у меня шмыгает!..

От неожиданности Иван вздрогнул, обернулся. Опершись о спинку стула, над ним склонился старший следователь по особо важным делам товарищ Семивёрстов Тимофей Васильевич. Собственной персоной. Из широко растянутого в улыбке губастого рта кисло несло перегаром.

– Позвольте за ваш столик присесть? Или вы кого дожидаетесь?

– Садись, Тимофей Васильевич. Места у нас не заказаны, – Иван тяжело вздохнул и, подвигая для нечаянного сотрапезника стул, с горечью подумал: зря он над собой надругался. И бороду сбрил, и в шута красно-рыжего обратился.

– Спасибо, Владимир Александрович, добрая душа. Погоди, я только закуску свою к вам перетащу, – и отошёл.

– Влипли! – у Богомолова стало так скверно на душе, что даже захотелось матерком пустить. Еле сдержался.

– На всё воля Божья. Помнишь, как в молитве Оптинских старцев: "Господи! Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой", Иван, напротив, был удивительно спокоен и даже рад. – Всё, кончились наши треволнения, Алёша!.. Ни о чём нам теперь заботиться не надо. Тимофей в один миг все наши проблемы устроит: и на ночлег определит, и о пропитании нашем позаботится. Об одном горюю – он ведь и тебя заметёт, и ты заодно со мной безвинно пострадаешь. Прости меня, Господи!..

Семивёрстов вернулся. Поставил на столик три стакана, тарелку с остатками закуски, достал из кармана початую бутылку, разлил водку по стаканам и с размаху плюхнулся на стул рядом с Найдёновым.

– Ну, Володька?.. За что выпьем?

– За что? – Иван взял наполовину наполненный стакан, взглянул на притихшего Богомолова. Тот с нескрываемой тревогой наблюдал за происходящим. – Я, признаюсь, уж и не помню, когда пил, но сегодня... Так и быть, выпью... – он протянул второй стакан Алексею Ивановичу. – Держи, Алёша. Знаю, не пьёшь, но пригубь с нами... Так сказать, чисто символически... За компанию...

Немного помолчал, повертел в руке стакан, словно выжидая, что кто-то первым начнёт говорить, не он. Потом коротко взглянул на Семивёрстова.

– Я, Тимофей Васильевич, за здоровье твоё хочу выпить. А если у тебя жена, детишки и прочие сродники имеются, то и за их благополучие. Пусть Господь дарует всем вам покой душевный и здравие телесное.

– Низкий поклон тебе, Владимир Александрович. Ты даже не представляешь, как мне твоё пожелание сейчас надобно! – Семивёрстов потянулся к нему своим стаканом, чтобы чокнуться, но Иван остановил его.

– погоди, я самого главного не сказал... Но, чтобы душа твоя и в самом деле покойна была, не бери на себя нового греха: отпусти с миром Алексея Ивановича. Он к моим геройствам никакого отношения не имел и иметь не может. Согласен?

– Зря тревожишься. Я к твоему приятелю никаких претензий не имею. Пей! – и залпом опорожнил свой стакан, так и не чокнувшись с Найдёновым.

– Ну, спасибо, Тимофей Васильевич!.. Уважил! – улыбнувшись, сказал Иван. Затем тоже выпил, аккуратно поставил стакан на стол, встал, опустил руки по швам и ясно, отчётливо произнёс: – Я готов.

– Ты это о чём? – похоже, Семивёрстов не понял, что имеет в виду его сотрапезник.

– Мы, гражданин начальник, как?.. Пешком или на троллейбусе поедем?

– Зачем на троллейбусе?..

– Ведь тут до Лубянки рукой подать. Или вы спецмашину вызовете, чтобы, значит, с шиком на цугундер меня доставить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.